

Баир ДУГАРОВ

САГА САНСАРЫ

Улан-Удэ
2017

УДК 89

ББК 84 (2Рос=Буря)-5

Д 80

*Книга издана при финансовой поддержке
Министерства культуры Республики Бурятия
в рамках Государственной программы Республики Бурятия
«Культура Бурятии»*

Д 80 Дугаров Баир Сономович

Сага сансары / Б. С. Дугаров. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2017.
– 400 с.

ISBN 978-5-91121-200-1

Новый поэтический сборник составляют стихи, написанные в разные годы. Они впервые выходят отдельной книгой, в которой воплотились оригинальные творческие поиски автора. Буддийские мотивы, характерные для творчества поэта, оттеняют размышления о смысле жизни человека и его духовных обретениях под знаком светлого начала.

ISBN 978-5-91121-200-1

УДК 89

ББК 84 (2Рос=Буря)-5

© Дугаров Б.С., 2017

ПЕСНИ БУРМОНА

ВОЛОСЯНАЯ СТРУНА

Воздуха мне не хватает полынного,
Вольных просторов и песен протяжных.

Вот почему оживает
Во мне и звучит,
Войлочных юрт обнимая
Вселенную –
Волосяная струна моя,
Волосяная.

Волка – прародителя синих монголов –
Вой, содрогающий скалы и
В трепет душу мою приводящий,
Вопль затаенной тоски по кочевьям,
Возгласы
Всадников, рожденных и умирающих в седле,
Вобрала
В себя
В долгих кочевьях –
Волосяная струна моя,
Волосяная.

Воздуха мне не хватает полынного,
Вольных просторов и песен протяжных.

Вот почему оживает
Во мне и звучит на все стороны света,
Возвеселя богов-небожителей,

Восседающих
В заоблачных чертогах и
В руках своих
Вожжи судеб держащих –
Волосяная струна моя,
Волосяная.

Воздуха мне не хватает полынного,
Вольных просторов и песен протяжных.

Улигершин начинает сказанье свое под знаком
Плеяд семизвездных.
Утро столетий сквозит сквозь серебро кружевное
летающих снежинок.
Устье реки вспоминает исток свой в горах
затерявшийся поднебесных.
Уст моих птица крылья расправляет под звуки струны
морин-хура.

Выдох анафоры,
Выси и дали связующей,
В слове сказительском
Вновь оживает...

Волосяная струна моя,
Волосяная.

* * *

Осененный божественным слогом,
ощущаю в ночной тишине:
древний текст, сотворенный Востоком,
только третьим читается оком,
что мерцает тайком на челе.

Проступают священные знаки
на слегка пожелтевшем листе.
И под шелест волшебной бумаги
оживают пророчества саги,
позабытой в земной суете.

1991

ВОЗВРАЩАЮСЬ ПОЗДНО

Топчутся
Тополя у скверов морозных.
Опять
От друзей возвращаюсь поздно.

В подъезде
Вспоминаю их спорящие голоса.
Поднимаюсь
По ступеням к себе не спеша.

Под рукою
Перила скользят, как ледок.
За стеною
Звенит по-стрекозы звонок.

В дверях
Встречает мама в халате зеленом.
Мигом на носках
Мимо спящих прохожу сестренек.

Нет, не усну.
Непослушные мысли пытаюсь развеять.
Исподволь бьет по окну
Из веков затуманенных ветер.

21.01.1972

СЕЛЕНГИНСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Странно жизнь у нас устроена –
мы живем в тисках тоски.
И по улице Борсоева
я спускаюсь до реки.

Надо видеть все воочию
то, что копит тишина.
На снегу следы сорочки
оставляют письма.

И ведет меня протока,
раздвигая тальники,
и ледовой дорогой,
и тропой вдоль Селенги.

Там, где гуннов городище,
снег все тот же, тишь да гладь.
Но дает пространство пищу
о былом поразмышлять.

Жил Модэ – скуластый гений.
Вдаль глядел из-под руки
на простор своих владений
от Амдо до Селенги.

И на запад мчались гунны,
позабыв родной напев.
Снились им морские дюны
и туники римских дев.

И о предках позабыли
их потомки-степняки.
И уже иные были
навевают тальники.

Городища нет, но город
есть теперь на Селенге.
Он, огнями глядя горы,
отражается в реке.

И воркуют тихо голуби,
славя свой Улан-Удэ.
Здесь все знают Модогоева,
но не знают о Модэ.

Странно жизнь у нас устроена,
Не хотим мы быть собой.
И по улице Борсоева
возвращаюсь я домой.

1982

ХУХЭДЭЙ МЭРГЭН

Небо с землею слились в ниагаре из бездны струящейся влаги –
Не Хухэдэй Мэргэн ли снова ожил со всей первобытной силой.
Недра пространства сотрясая ударами в бубен громовый,
Неукротимый владыка вселенной молнии мечет над степью.

Тэнгри – неистовый бог-громовержец, огненных стрел созидатель,
Тени империй степных оживают на миг в сиянии молний.
Тысячелетья встают на дыбы и замирают в сказаниях вечных,
Трепет священный вызывая в песнопеньях моих запоздалых.

2017

* * *

Я согласен. В молчанье уйду,
чтоб слова позабыть ради Слова.
Этот берег речной на виду
у грядущего и у бывшего.

Будто бы по земле небосвод
растекается плавным потоком.
А куда – неизвестно – течет:
к устью или обратно к истокам.

Я в дороге свернул от шоссе,
выбрал путь по реке моей жизни,
и мерцающей вечности брызги
на своем ощущаю лице.

ТЕМА ТОТЕМА

Есть одна наболевшая тема –
это тема тотема.

Колыбель тишины. Небожителей время.
Поклонялось Быку темноглазое племя,
а другое, у вод преклоняя колени,
Пестрой рыбе свои возносило моления.
Ну а третье с прозрачных высот перевала
Белой лебеди гимны любви посвящало.

Загremели на древней земле поезда.
Бык ушел в глубину синих гор. Навсегда.
И запели плотины о завтрашнем дне.
Чудо-рыба пропала в морской глубине.
И под рев самолета в просторах небес
след летящего Лебеда быстро исчез.

Времена наступили иные,
Но живут пережитки былые.

Позабыты тотемы, но все же
бродит зов их в потомках, похоже.
И порою такие случаются штуки,
словно в басне о лебеди, раке и щуке.

Свой тотем родовой возлюбя,
каждый тянет свой плед на себя.
Даже если коллега в работе слабак,
он нужней, потому что – земляк.
И вещает с высоких трибун популист,
а на деле скрывается в нем трайбалист.

Как ни странно, но тема тотема
и в наш век актуальная тема.

* * *

Поклонялись всадники быку.
Поклонялись пешие корове.

Бык ревел, копытом землю рыл,
изогнув свирепо выю.
На костях врага рога точил
и таранил стены крепостные.

И его рога, как битв корона,
украшала шлемы легиона.

А корова знала лишь луга
и носила будущее в чреве.
И без белой капли молока
темен был бы этой жизни жребий.

И ее большие вымена
проливали свет на письма.

Поклонялись всадники быку.
Поклонялись пешие корове.

ВОСПОМИНАНИЕ О ВАРНЕ

Выспаться мне б не мешало, кофе бодрит, но – увы – ненадолго.
Вья, когда ты сидишь за компьютером, так устает, что порою
Выпрыгнуть хочется прямо из форточки и по газону промчаться
Вепрем, из чащи таежной ворвавшимся в суетный город...

Вальс на асфальте танцуют тени едва нарождающейся листвы.

Ванга мне вспомнилась вдруг, до которой я так не добрался
в Болгарии.

В самом конце восьмидесятых то было:
Выпал случай проехаться по следам Аспаруха с туристским
акцентом.

Варна была на пути, и берег пустынного моря,
Ветер гулял по балкону, и друг мой Лопсон, лысину кепкой
прикрыв,

Водку из рюмки по тучам каурым разбрызгал, чтоб дождь
прекратился.

Весело мы посидели до полночи самой, мечтая с утра окунуться
В море, лазурью одетое и полное солнечных бликов.

Вау, как открыл я глаза, вижу, что небо темнее еще, чем вчера.
Видимо, боги болгарские не внимают молениям азийских поэтов.

Вышел я к морю, прошелся по берегу и, невзирая на пенные
волны,

В воду вошел и понесся, словно сорвался с цепи, бегом по
бурунам.

Вот как бывает, подумал я,
Вровень с волною, встающей, как яростный конь на дыбы,
Ворон и чайка предо мной проплывали в обнимку...

Вот как бывает.
Воспоминанье о Варне откликнулось вдруг через годы.

Время пришло обернуться на вечные темы, пока не ушел еще
поезд.
Верба цветет, серебристые почки бегут по ветвям, как барашки.

Значит, не зря вспоминается то, что когда-то случилось.
Знак в этом есть, и пробежку по морю не Ванга ли наворожила?

Впрочем, выспаться мне б не мешало, кофе бодрит, но с чего бы
Ворон и чайка в обнимку плывут надо мной в отдаленье...

2013

МОНОЛОГ БУРМОНА*

О, Азия! Тобой себя я мучу...

В. Хлебников

I

В советскую эпоху приезжим людям в Бурятии объясняли, что из знаменательных исторических событий, в конечном счете, два – землепроходцы и декабристы.

В то время как
в 14 км от Улан-Удэ есть гуннское городище,
ставшее северным оплотом самой первой в мире степной империи.

Это было еще на заре нашей эры, а может, пораньше.
И Аттила, ушедший за тысячи верст от азийской первоотчизны
и Риму грозивший изогнутой саблей, с тоскою глядел на восток,
и сказители пели о сыне неба,
ставшем первым героем сказанья о Великой степи.

Где горделивые тюрки, бравшие в руки поводья вселенной?

Где многодумные уйгуры, возмечтавшие с лотосом меч
породнить?

Помнят о многом вставшие на дыбы керексуры –
поминальные камни ушедших веков,
разбредшиеся по долинам Орхона и Селенги.

* Бурмон – бурят-монгол

Вихрь истории поднял номадов –
наследников гуннов – и породил Чингисхана.

И воля Неба обрела
свой путь в пространстве тьмы и света,
и в сердце Азии вошла
гроза тринадцатого века,
и мир подлунный потрясла.

II

Когда солнце клубится на закате красным заревом и облака проплывают в отсветах красно-багрового цвета, мне всегда кажется, что это возвращаются из бездны столетий, оживая над хребтами, над волнистой чертой горизонта, тучи, самые грозные и самые печальные в мире тучи – тучи пыли, поднятые копытами монгольских туменов, навсегда растворившихся в пространстве, в народах, покоренных и непокоренных, только пыль возвращается снова на родину, только пыль. Пыл проходит набегов, а пыль остается. И она возвращается, пыль, застывая солнце. Это называется закатом.

Мчались всадники грозно на запад
 вслед за уходящим солнцем,
 чтоб продлить свой день
 и пространство освоить,
 где властвует солнечный луч.

Вслед за солнцем уходящим скакали вдогонку,
отмечая свой путь руинами и вновь возведенными дворцами –
миражами своего скоротечного владычества.

III

Воскресни, Чингисхан, и оглянись!
О великий, как же это случилось,
твои орлюки увели лучших сыновей
в сторону заката солнца,
и степь опустела, Великая степь.

О великий, если бы ты оглянулся,
то в эту явь ни за что не поверил бы твой взгляд
волчий, филиный, орлиный.

Твой народ растерзали на части,
словно тарбагана, высунувшегося из норы,
тарбагана, которому снился сон, что он был великаном,
чья грудь вздымалась хребтами Хангая,
а руки тянулись Янцзы и Евфратом,
а одна нога упиралась о берег песчаный Средиземноморья,
а другая – о жесткие камни Тибета.

Твой народ растерзали на части.
Твой народ растерзали Дракон и Медведь.
И, поделив заповедные земли монголов,
успокоились Дракон и Медведь,
успокоились, не решаясь напасть друг на друга.

О Чингисхан, очнись и на карту взгляни:
твоя колыбель, твое тоонто священное,
степь, твои реки, вспоившие волю и силу, –
эта земля похожа

на растянутую шкуру разделанного тарбагана
и прибитую зубами Дракона и когтями Медведя
к стене по названию История.

IV

Крутые волны бытия
смели с планеты след монгольского коня.

Но предков дух возвысить до вселенной
сумела Степь в свой звездный час.
И песнь ее сказаньем сокровенным
сквозь времена во мне отозвалась.

Эпохи кочевой гортанный голос
утих под вечный шелест ковыля.
И на обломках сабель вырос лотос,
и уходил степняк в себя.

И свет, сошедший с гималайских гор,
смирил воинственный простор.

V

Я, быть может, последний бурят-монгол,
в ком струна не утихла азийских столетий.
Я искал свою песню при солнечном свете
и запел, но покоя в душе не обрел.

Мне осталось дружить с вольным ветром в пространстве
и хранить в своей памяти вещие сны.

И чем больше твердят мне о дружбе и братстве,
тем сильнее во мне одиночество, чувство вины.

И зачем меня бог на тоску обрекает,
и заглушит ли боль степняка городское вино.
И тайком меня та же слеза обжигает,
что скатилась по лику распятого временем Жамцарано.

Кто подхватит упавшее Синее знамя
и поднимет его над простором земли?
Вечно Синее небо вздымается над золотыми степями
и не слышит молитвы мои.

Мне осталось молчать и сродниться с проклятой тоскою,
улыбаться и петь с искаженным от боли лицом,
и стрела, что летит сквозь века над землею,
успокоится, видимо, в сердце моем.

ШЛА ДАМА ПО ИМЕНИ КЛИО

Шла дама по имени Клио,
шла по неровной тропинке,
спускаясь
с Олимпа.

Ей перебежала
дорогу
черная кошка,
которую Клио не заметила,
потому что была близорукой.

Может, солнце ей слепило глаза
или что-то другое ей помешало увидеть
черную кошку,
которая перебежала ей дорогу.

А может,
ничего этого не было.

Много-много веков
пронеслось.
Много-много воды
утекло.
Много-много пролито
крови и слез.

А дорога петляет
и каждый раз нависает
над пропастью.

Шла дама по имени Клио,
шла по неровной тропинке,
спускаясь
с Олимпа.

А может, в самом деле
черная кошка когда-то
ей перебежала дорогу.

А Клио просто не верила
в приметы.

ЧАН-ЧУНЬ

Жил, говорят, мудрец на свете,
и с ним встречался Чингисхан,
чтоб тайну обрести
бессмертья –
наиважнейшую из тайн.

И с повелителем в беседе
надолго замолчал даос,
когда, задумавшись,
ответил
на заданный ему вопрос.

– Бессмертья нет,
но человеку
вполне возможно жизнь продлить.
Но нужно следовать Завету,
как, слившись со Вселенной, жить.

А всей обителью земною
издревле правит небосвод.
Каган, лишь знаю:
мы с тобою
умрем в один и тот же год.

И у обоих в круговерти
времен
срок жизненный истек –
в год Кабана при лунном свете,
как и мудрец-даос предрек.

Хотя кагану
милосердье
не раз являло небо, но
он не достиг, увы, бессмертья,
ведь это людям не дано.

Зато он избежал забвенья,
владыка мира –
Чингисхан,
чье имя помнят поколения
из многих просвещенных стран.

И мудреца Чан-чуня все столетья
не забывают потому,
что Чингисхан,
ища бессмертья,
однажды вверился ему.

КОННИЦА БАТЫЯ

Конница Батыя, конница
по просторам березовым летит.

Китеж-град
в воду погружается,
и сверкает золотом звонница,
и волна озерная макушку серебрит.

Говорит мне Богородица:
«В светлый день к земле прижмись
и услышишь звон колокольный,
если помыслами чист».

И, дождавшись светлого дня,
в сутолоке бытия
прижимаюсь я к земле,
словно в заколдованном сне.

Только слышу, как земля дрожит
от батыевой конницы,
от громового цокота копыт.

Но не слышу я звона колокольного,
да простит меня Богородица,
да простит...

* * *

Мои стихи опальные
лежат в черновиках,
стихи не идеальные,
осенние, печальные,
как иней на цветах.

Моя эпоха пучится,
как тесто на дрожжах.
Поэта жребий – мучиться:
что в жизни не получится,
дай бог, взойти в стихах...

1982

ЧАСТУШКИ О ГЕНСЕКАХ

Был генсек –
дровосек,
и махал он топором
много лет подряд,
повторял притом:
«Рубят лес – щепочки летят».

А другой генсек
был как человек,
но уж больно странный был,
кукурузником прослыл,
и стучал он башмаком
над ООНовским столом.

Ну а третий наш генсек
прожил бравенько свой век.
Хоть и ханом стал, зато
был, как все, и ладно скроен.
Неизвестно лишь, за что
стал четырежды Героем.

* * *

Эпоха продолжалась –
цвета кумача.
Эпоха называлась –
от Ильича до Ильича.

«Грядущий день прекрасен», –
твердили времена.
И в очередь за счастьем
вставала вся страна.

И длилось это счастье
с верою в добро,
чтоб рухнуть в одночасье
у ног Клио.

И сквозь обломки мира,
которого уж нет,
еще струится сиром
тот кумачовый свет.

И тень вождя вождей
в знакомой кепке старой
походкою усталой
бредет в свой Мавзолей.

* * *

Снова несет меня
людской поток по руслам
московских улиц и проспектов,
неудержимый поток,
бурлящий в тесных берегах
человеческого эго.

О Вечное Синее небо,
из глубины мироздания,
с его невидимых вершин,
где обитают тэнгрианские боги,
которым поклонялись
несуетные мои предки,
кем я кажусь оттуда,
кем я кажусь –
не более, наверно,
чем муравьем в муравейнике,
не более чем травинкой в степи,
не более чем песчинкой
в караване барханов, кочующих в пустыне.

О Вечное Синее небо!..

Снова несет меня
людской поток по руслам улиц,
с каждым разом все быстрее,
все неудержимей.

Но я никогда не спешу с толпой,
словно в запасе у меня персонально
целая вечность.

И еще я пишу стихи, говорят, неплохие,
и тешу себя надеждой,
что кто-то сверху все-таки смотрит за мной...

ДОРОЖНАЯ МОЙРА

В подмосковном автобусе,
заполненном усталыми пассажирами,
напротив меня сидела
женщина,
дородная, светловолосая,
судя поговору,
с Русского Севера.

Не обращая внимания на соседей,
на звонки их сотовых телефонов,
на хмельные прибаутки
подвыпившего мужчины,
она занималась своим рукоделием.

Спицы в руках ее плавно мелькали,
клубок распутывался нитей,
словно ткала она – дорожная Мойра –
тишину и покой,
как вологодские кружева.

СТАНЦИЯ КИПЕЛОВО

На краю вселенной, среди снега белого,
пролетела станция, станция Кипелово.

Пролетела ночью на земном на глобусе,
затерявшись где-то в Вологодской области,
затерявшись где-то на далеком Севере,
где спешат по рекам к океану сейнеры.

Только помню фонарей жалкое мигание.
Чемодан и две балетки в зале ожидания.

В зале ожидания, в зале расставания.
Станция Кипелово: «Здравствуй – до свидания».

Вот и все, пожалуй. Среди снега белого
пролетела станция, станция Кипелово.

Огонек блуждающий, искорка движения.
Звездочка дорожная моего мгновения.

6.01.1974

* * *

Белая лебедь – выдох земли первозданной.
Белая лебедь – явь или сон?
Трубы дымят, и стальные туманы
даль опоясали и небосклон.

Белая лебедь – мир этот все же чудесен.
Белая лебедь, долго плыви.
Даже когда на земле не до песен,
не до стихов и любви.

Белая лебедь, где твое гнездышко,
ты оброни для меня свое перышко,
чтобы оно и меня окрыляло,
чтоб на распутье мне посохом стало.

* * *

Полночь. Светло. Полнолуние.
Спит любимая,
древняя моя родина, юная,
спит, прижавшись щекою к Байкалу.
И ветер из северных дебрей
холодит ее смуглые руки.
И ветер из южных пустынь
обжигает во сне ее руки.

В эту ночь забываю о славе,
о забвении и о тщете
гулких выдохов смертного «я».

Я-то знаю, как жизнь коротка.
Сколько жизней прошло,
сколько жизней, о боже,
как травинки в степи,
как дождинок в осеннюю пору,
как песка в бороде сумасшедшего смерча.

Я-то знаю, что только любовь
право дает на бессмертье.

Я-то знаю, что в этом порыве сольюсь
с колыбелью стихов моих,
с вечной землей моей родины.
Однажды сольюсь и навеки.

Полночь. Светло. Полнолуние.
Спит Бурятия – мать моя,
дочь моя, нежность моя.
Спит, прижавшись щекою к Байкалу.
И ветер из северных дебрей
холодит ее смуглые руки.
И ветер из южных пустынь
обжигает во сне ее руки.

ПОД РОКОТ ВСЕЛЕННОЙ

1

Затворник,
томящийся по свободному бегу строки
в одиночестве гордом.

Заложник
собственного призвания,
на исполнение которого не хватает жизни.

Заоблачный бог
посылает тебе стрелу,
оперенную мукою творчества.

2

Завтра –
уже будет поздно,
лучшее время – сегодня.

Запах
июньской сирени отдает перегаром
минувших столетий.

Замки
воздушные рушатся,
чтобы ожить на бумаге.

Запад и Восток –
два крыла
моей вечной элегии.

3

За сказителей,
беседуя с небожителями,
тост поднимаю под рокот вселенной.

Залпом
чашу кумыса до дна осушаю
и слушаю тишину,

заговорившую
во мне, словно звук,
исходящий от уставшего бубна Планеты...

* * *

Окаменелые волны пространства
Гималаями
тянутся ввысь.
Словно в едином порыве –
светло и прекрасно –
небо с землею сошлись.

Пик океана и вечности берег.
Горы и Рерих.

ИСТИНА КОЧЕВНИКА

Улигер – струна поющей выси,
Утренний выдох на века.
У степных стихов аллюр азийский,
Уносящий в дали седока.

И ведут сквозь лабиринты буден
Искры звезд, горящих впереди.
Испокон веков так есть и будет –
Истина кочевника в пути.

Облака клубятся над землею.
Оглянусь – и льется свет с небес
Оттого, что путь нас свел с тобою,
Оттого, что ты такая есть...

ПЕСЕНКА НОМАДА

Бежит по улице трамвай.
Трепещет в воздухе листва.
И тополям зеленым,
бредущим по газонам,
щекочет ноги трын-трава.

А в сизом воздухе стрижи
выписывают виражи.
И Селенга с Удою
серебряной волною
мне навешают миражи.

И горожанка в синем
земной богиней
проходит мимо, как во сне.
А я б такую
унес бы в даль ночную
на рыжем бешеном коне.

И телевышки коновязь
встает над городом светясь.
А поезда летят на запад.
И лишь полынный запах
тревожит кровь в полночный час.

А на газоне
и небосклоне
вновь распускаются цветы.
А на балконе
гарцуют кони
моей тоски, моей мечты.

* * *

Закатилось дорожное лето.
Пыль осталась колес в стороне.
Золотой якорек домоседа
мне однажды приснился во сне.

Утолил ли я жажду пространства?
Нет, конечно, отвечу себе.
Если скажут: родился в рубашке,
это значит – родился в седле.

* * *

Порог – граница дома называется.
А за порогом
мир семицветный начинается,
простор дорогам.

И колесо времен по кругу катится,
и муза странствий
несется, как степная всадница,
в земном пространстве.

* * *

По душе мне ехать
долго-долго
и не знать,
как далека дорога.

Ехать-ехать,
никуда не торопиться,
улыбаться вслед летящей птице.

Я попутчик
снам и грому.
Еду я по ходу солнца.
Чувствую дорогу
по тому, как сердце бьется.

Ехать-ехать
долго-долго,
отсыпаться дома.

ГУСИНОЕ ОЗЕРО

Н. Намсараеву

Поэма

1

У самого берега – желтый камыш.
Вздрагивает от птичьего крика тишь.

Озеро – капелька океана
у подножья Хамар-Дабана.

Озеро в синеву свою верит,
тихой волной окропляет берег.

Серый ковыль переходит в камыш.
Ветер. Слеза океана. Тишь.

2

В небе сплошная синева.
Ни единого перышка облаков.
Прячет кузнечиков трава –
преданных своих певцов.

Чу! Облако сползает с холма.
Это отара. Пыль и жара.
Солнце, наверно, сошло с ума.
В каждой травинке – запах костра.

Лицо чабана – просторно, как степь.
Степь – это юрта, не признающая стен.

Солнцу и звездам открыта юрта.
Пахнет простором каждое утро.

3

Носок бурятского гутула
приподнят был,
чтобы нога
случайно землю не взрыхлила.

Был плуг в степи кощунством.

И таяли века,
и степь сама себя хранила.

И поднимались к небу храмы,
учения вращалось колесо.
И бронзовые ламы
глядели вечности в лицо.

И говорят,
что посредине голубой
озерной глади остров возвышался,
и там буддийский храм,
как лотос, распускался
всем многоцветьем радуги земной.

Священной осененной красотой
был каждый день благословен.
Но скрылся остров тот однажды

под водою
как знак недобрых перемен.

Он скрылся.
И весну сменила осень,
поблекли краски старины.
И голос сутр волна порой доносит
из утренней озерной глубины.

4

Возник в степи упрямый город,
за этажом этаж.
Возник он, как мираж,
как вызов.
И железным рогом
вспорол степное лоно экскаватор.
И кровь сочилась медленным закатом.
И черный уголь – клад земли –
из недр планеты извлекли.

И над землей преображенной,
сугулясь, встали терриконы,
как стадо неопирамид,
внушительных на вид.

5

Гусиное озеро, где твои гуси,
гуси-лебеди где твои?
Птицы белые нежной грусти,
птицы белые светлой любви.

Черный дым над водою кружится.
Занавесили высь провода.
Не вернутся белые птицы,
не вернутся уже никогда.

Кто вернет чистоту просторам,
а озерной воде – бирюзу.
Неужели у озера город
будет так, как бельмо на глазу.

Что же делать: я медлю с ответом.
И несбыточным кажется сном,
чтоб дружила земля с человеком,
птица белая с черным углем.

6

Что ж ты, Коля, молчишь,
рыжеволосый степняк?
Изменяется степь, изменяемся мы.
В клочьях дыма небесный – наших предков – стяг
осеняет пропахшие веком двадцатым холмы.

Нам достались трамваи,
газоны и трубы.
Почему ж о траве
мои шепчут печальные губы?

Хорошо. Мы потомки монголов,
в наших генах – посланье веков.

Но земля позабыла
цокот грозных подков.

Степью правят сегодня
иные законы.
Там, где юрты белели,
чернеют теперь терриконы –
пирамиды крутых пятилеток.
А над озером зимою и летом
ГРЭС дымится-дымится,
и в монгольские дали ток эпохи струится.

7

Ну так что ж,
позабудем усталые песни.
Серебристые «Илы» скользят в поднебесье –
гуси-лебеди нашего века.
Но их гул отзовется ль в душе человека?

Жизнь идет. Продолжается пламя и племя.
Неба Вечного кто же поднимет трепещущий стяг?
Жизнь идет, чтоб остаться в стихе и поэме.
Что ж ты, Коля, молчишь, друг мой,
рыжеволосый степняк?..

КАК РОЖДАЮТСЯ СТИХИ?

Какова все-таки природа вдохновения,
от божественного или сатанинского начала в поэте
или некий синтез того и другого?

Может, вдохновение –
это выдох созревшей мысли и чувства,
когда слова наливаются,
как спелая ягода,
и сами срываются с ветки...

А бывают стихи, как брызги шампанского.
А вдохновение – как от бубна шаманского.

А еще есть стихи – от молчания
затаенного в душе мироздания.

И от вселенской тоски безмолвия
строку высекает молния.

* * *

И прежде чем вступить
в грядущий век,
я оглянусь,
как старый человек
на прожитые годы,
на улус,
где прошлое стоит,
смирненно опираясь
на обветшавший посох
коновязи...

* * *

Не нам ли предки мудро завещали,
чтоб мы как мать природу почитали.

И нашей отчей вечности начало
не храм ли лучезарного Байкала.

И разве не хранят стихи сказаний
величие и нежность мирозданья.

И не заменит пушкинское слово
завета предков – языка родного.

СКАЗИТЕЛЯМ

Давно растаял след богов в веках.
Но миф живет как света оправданье,
напоминая нам о небесах
и о творцах Гэсэрова сказанья.

Есть Путь – как перевал за перевалом.
И как бы ни менялись времена,
покуда Слово светит над Байкалом,
равно пребудут Ваши имена.

ТРОН АТТИЛЫ

Карлу Бауэру

I

Автобан, вырываясь из объятий Альп, переходит на трассу, сопровождаемую цепочкой мини-городов. Прямо к Венеции, строго на восток – в сторону Адриатического моря. Солнце бьет в лицевое стекло. Небесная лазурь растекается на весь видимый горизонт.

Под сенью пирамидальных кипарисов, пальм и плакучих ив слышался мне отдаленный топот римских легионеров, и эхо воинственных кликов варваров, мечтавших почивать на лаврах цезарей, таяло в небе минувших тысячелетий, и каналы, отпочковавшиеся от По-реки, то и дело блистали на солнце, как меч богини Минервы, с которым она родилась из головы всемогущего Юпитера.

И виделся мне Аттила на просторах Северной Италии, где уже ничто не напоминало о событиях лета 452 года, когда гуннская волна в жажде добычи и славы, сметая все на своем пути, хлынула вдоль Адриатического побережья до Милана, бывшего тогда столицей Римской империи и где Аттила занял императорский дворец в предвкушении решающего броска на Рим.

II

Вот и Торчелло – самый дальний остров в архипелаге Венеции. Здесь и находится трон Аттилы, приютившийся на небольшой

центральной площади. Он из белого мрамора. Местная молва в течение уже многих столетий связывает это мраморное кресло, осененное ветвями раскидистой оливы, с именем вождя гуннов. В этом есть некий исторический парадокс: грозный завоеватель, согнавший жителей Адриатического побережья с насиженных мест на пустынный остров Торчелло, обретает здесь свой трон.

Подождав, когда схлынет поток туристов, иду к трону Аттилы. Совершая троекратное движение посолонь – горюю вокруг самого трона и оливы – хранительницы трона, как мне подумалось. Шепчу про себя стародавние молитвы на бурятском языке, которые неожиданно приходят на память. Сажусь на белый мрамор трона Аттилы, ощущая прохладу камня, облакачиваюсь на мраморные «подлокотники», чувствую всем телом, как столетия проступают сквозь белый мрамор, и олива как ипостась мирового дерева осеняет этот долгожданный благословенный миг. Полузакрыв глаза, мысленно погружаюсь в поток времени: всадники проносятся в сторону Рима и кони встают на дыбы перед крепостными стенами обласканных южным солнцем городов. Рим еще стоит, словно могучий дуб, подточенный набегами северных варваров. И я, мимолетный путешественник, вынырнувший из глубин Азии – пра-родины гуннов, почувствовал прикосновение Кронаса на легендарном символическом троне Аттилы.

А все-таки почему Аттила не взял Вечный город, готовый рухнуть к ногам гуннских всадников?

Вспоминается изречение Гете: «Я каждое утро благодарю бога, что мне не нужно заботиться о Римской империи».

Действительно, трудно править, сидя на коне. Аттила же был истинным всадником, который предпочитал, умиловленный молениями властителей римского мира, принимать от них ежегодную дань, что вполне удовлетворяло его степные амбиции.

III

А в Европе до сих пор
Аттилой пугают детей,
как в Ордосе пугают детей
рогатым чудовищем-мангусом, –
так мне рассказывал мой знакомый монгол Хурцабатор,
живущий в Кёльне и водивший меня
по достопримечательностям города.

Высился Кёльнский собор,
память храня об Урсуле,
спасшей град от гуннов ценой своей жизни и
ставшей хранительницей града.

Рейн нес спокойные воды к Атлантическому океану.

Аттила, как ни странно, оживал в легендах и сказаньях.
Например, в поэме о нибелунгах –
под именем Этцель.
Он весьма благородный король,
повелитель угомонившихся гуннов.
Вот как бывает, что трон Аттиле
воздвигает и сам эпос.

IV

Нет, не аи, не кюрасо,
я пью родимый тарасун.
И мне, представьте, хорошо,
поскольку я, наверно, гунн.
И я немножко акмеист,

воспевший розу с ковылем.
И кружится мой белый лист
под евразийским сквозняком.
И снится мне в полночный час
сказание о нибелунгах,
где память о незваных гуннах
через века отозвалась.
Как мир един при свете звезд,
и миг несет свою планиду.
И за красавицу Кримхильду
Аттила поднимает тост.

КЕНТАВРЫ В КАФЕ

Ж. Юбухаеву

Вот сидим мы в дорожном кафе по названию «Надежда».
Сколько лет мы не виделись, сколько воды в Селенге утекло.
Что ж, обмоем с тобой нашу встречу и выпьем, как прежде,
чтобы стало опять на душе и легко, и светло.

«Ветерок» байкалфармовский плещется тихо
в граненых стаканах,
с пережаренным пловом дымится зеленый чаек в унисон,
и салатик из свежей картошки с селедочкой в ломтиках рваных –
вот, пожалуй, и весь, неплохой, подходящий для нас, закусон.

Ну, так выпьем, дружище, за встречу, которую дарит сансара
нам, живущим единственный раз на единственной этой земле.
Разве это не радость, под скрипы земного тяжелого шара
улыбнуться друг другу, пока наши песни не скрылись во мгле.

Ну, так выпьем, дружище, пока еще муза нас любит и нежит
и зовет своей лирой в обитель высокого слова жрецов.
Мы кентавры с тобою, и нам сквозь созвездия брезжит
серебро полнолуний пронизанных ржанием конским веков.

Ну, так выпьем, дружище, пока еще мчат наши гордые кони
по просторам родных евразийских хребтов и степей.
И полночные звезды, светясь на высоком крутом небосклоне,
улыбаются нам исподлобья по-гуннски – и мне, и тебе.

КУКУНУР

Топот сянбийских коней, смешавшийся с гулом мантр
гималайских,
Трон поднебесный Гэсэра, рожденный под гром
Хухэдэй Мэргэна.
Токи бурливых кочевий степных откуда берут начало?
Тот, кто заглянет в око глубин Кукунура, быть может, ответит.

Слишком я долго брел к тебе, Кукунур, в грезах своих
заплутавшись.
Снились мне сизые дали твои, чтоб однажды к тебе
прикоснуться.
Танец орла я исполнил под музыку грома и шепот песков
караванных.
Тайна веков приоткрылась, или снова мираж осенил мои веки.

2017

* * *

Уют мне снится.
У юрты тень веков пасется.
Открытый лик степной простора –
Отдушина
От суеты.

Усталый взгляд скользит по горизонту.
Уста сомкнуты, сжаты кулаки.
Бросаю все и ухожу в себя.
Бравады нет, не до нее.
Багрянец молодости спал.
Барахтаются в луже облака.

И каждый день зачем
Икару в небо подниматься.
Из пепла выросшие крылья
Извелили пространства радость и тоску.

Уют мне снится.
У юрты тень богов пасется.

* * *

А в полночь – это я люблю –
взглянуть на звездное мерцанье.
Стою один и ввысь смотрю,
взмываю мыслью и парю
безмолвной ширью мироздания.

Горит в пространстве Орион
иль Три божественных марала,
они бегут из тьмы времен,
покуда вечен небосклон,
покуда есть у снов начало.

Семь Старцев, расседлав коней,
спят под Полярною звездой,
и коновязью в вышине
она сияет при луне,
уравновесив мир собою.

Гляжу на небо, как пастух-
сказитель небо зрел когда-то.
И от величья бездны вдруг
опять захватывает дух,
и льнет к земле небес громада.

* * *

Дар или по вечности тоска –
два крыла моих, два языка.

Русский – он в моих стихах звучит,
Обнимая дальний мир и близкий.
А степной, родной, во мне грустит,
Осеняя мой аллюр азийский.

Дань тщете иль выдох на века –
Два крыла моих, два языка.

* * *

Анафоре

я поклоняюсь, как всадник коню.

Анафеме

рифму конечную не предаю.

Рождается

с эхом столетий азийский аллюр.

Ронсару

в ответ отвечает степной морин-хур.

Пегас

мой подкован на все на четыре ноги:

Передние

рифмы, конечные – мчат по степи.

Литым

наконечником древних созвучий сверкая,

Летит

мое Слово, в пространстве себя обретая.

7.03.2011

ДРОФА

Ма-а-ета души – и снова выдох.
Моей анафоры тяжелая строфа –
рожденная
в ковыльных сумерках дрофа –
разбег берет по евразийскому простору.
Бежит неторопливо,
спотыкаясь о столетья, как о кочки,
бежит наперекор изменчивой фортуне
и, медленно набирая скорость,
взмывает ввысь.

Летит, летит, летит –
куда ведет степная муза,
и сам Хормуста –
бог небес –
благоволит...

* * *

Я проснулся от запаха трав и степи.

Я во многих бывал городах,
просыпался
от звона будильника, звавшего в будни,
от пронзительных сигналов клаксонов,
от скрежета тормозов машин у светофора.

Что это за удивительный город,
в котором впервые проснулся
от запаха трав
и ночного дождя.

Или, может, все это приснилось мне наяву?

Нет, все это было
так, как есть,
сквозь раскрытую дверь на балконе
струился запах трав
и рассветной прохлады,
за мостом поднимались
хребты Богдо-Улы.

Сама Великая степь обступала со всех сторон
оживающие
при свете утреннего солнца
улицы и кварталы.

Я проснулся от запаха трав и степи.
Свод небес распускался лазоревой юртой.
В кисее облаков серебрились стихи,
и простор наполнялся хрустальной сутрой.

1982

* * *

Монголия –
души моей тайная монополия,
садов моих нерасцветших магнолия,
стихов моих нежная меланхолия...

Монголия –
лазурь моих утренних небес,
печали моей сиреневая песнь,
любви моей серебряный эдельвейс...

Монголия –
пройдут караваны столетий,
но ты как залог бессмертья
пробудешь на белом свете.

* * *

Хурэлбаатар не грозен с виду,
хотя «Бронзовый богатырь».
Вместо сабли он держит лиру,
воспевая родную ширь.

Как обнять величавым словом
зыбь пустыни и гул тайги.
И сближает простор с простором
голубая струна Селенги.

Мне Монголия не заграница.
Есть такая на свете страна –
в снах моих золотых она снится,
и звенят на всю ширь стремена.

Я корням поклоняюсь и кроне.
Небо, горы и степь не делю.
И с собратом по музе и крови
нам завещанный гимн пою.

УТРО ДОБРОЕ, УЛАН-БАТОР

По городу утреннему еду в автобусе.

Просто хорошее сегодня у меня

Настроение.

На запотевшем окне

Вывожу указательным пальцем

Вертикальные монгольские письма.

Сквозь узорные линии вертикальной вязи,

Словно в просветах,

Проплывают улицы, офисы, рестораны, ломбарды,

Парикмахерские, нотариальные конторы, супермаркеты, деревья,

Рекламные афиши на монгольском и на английском,

Реющие над потоком автомашин и прохожих горожан.

У	У	У	У
г	л	т	л
л	а	р	а
о	а	о	н
о	н		-
н	б	д	Б
и	а	о	а
й	а	б	т
	т	р	о
м	а	о	р
э	р	е	
н			
д	х		
э	о		
э	т		

КОНИ НА ПЛОЩАДИ ЧИНГИСХАНА

На площади Чингисхана митинг животноводов.
В главной роли – лошади,
которых привели сюда
как представителей
традиционного хозяйства кочевников.

В знак протеста против разработки месторождения
иностранной концессией –
в хангайских степях,
где испокон веков
правили простором копыта коней,
еще со времен хуннов,
создавших первую в мире
степную империю.

Молчаливый митинг.
Треугольные флаги развеваются под порывами ветра.

Кони тихо жуют сено, разбросанное под их ногами.
Косо глядят
из-под коротко остриженных челок
на фотографирующих их вездесущих иностранцев.

Ком в горле встает почему-то,
когда я вглядываюсь в глаза лошадей –
кроткие миндалевидные, с поволокой, глаза.

2013

БУРЭНХАН

Высь осеняют вершины – престол вековечный небес.
Выдох простора – божественный каменный храм.
Клан небожителей землю хранит от напастей и бед.
Кланяюсь низко священной горе Бурэнхан.

Вот она, вечным серебряным снегом сверкая,
В воздухе светлом и утреннем как бы парит.
От серебристой вершины – столпа поднебесного края –
Отблеск ложится на строки стихов и молитв.

Полон гармонии мир, вдалеке от машинного гула.
Полдень простор осеняет серебряной чайки крылом.
Бег замирает мгновений у вод голубых Хубсугула.
Песни рождаются здесь о прекрасном, извечно родном.

ХУБСУГУЛ

Сколько раз, пролетая над высью Хухэя,
у подножья громады Мунку-Сардыка
видел я, как, сверкая в лучах и синяя,
Хубсугул открывался как знак на века.

С детских лет это озеро-море мне снится.
Обращаюсь к летящим по небу орлам:
«Почему Хубсугул для меня заграница,
если ластится он к моим отчим горам».

АЛАН-ГУА

1

Алан-гуа,
не тень твоя ли оживает
в просторах тишины.
Не твой ли образ навевает
высокий свет луны.

2

Алан-гуа!
Аквамариновый отсвет небес в просветах лиственничной хвои.
Альфа легенд в колыбели лесов, эдельвейсов и птичьего пенья.
Азии светлый исток, серебрящийся на речных перекатах.

Берег любви моей давней открыл я нежданно в далекой дороге.
Бережно память кочевников нити хранит путеводных преданий.
Время минувших времен тает росинкой на каждой травинке.
Беркут пространства зеленые крылья расправил над горным
простором.

Вечность, она открывается солнечным ликом монгольской
мадонны.

Вещие сны оживают в седой тишине лиственничного ханства.

Верю, что так все и было, как сказано мне в «Сокровенном
сказанье».

Время притихло под сенью дерев, освященных тенью столетий.

3

Алан-гуа –
праматерь Чингисхана,
хранительница света и добра.
В ней мудрости небесной тайна
на все земные времена.

* * *

Равнина плоская. Могучая жара
просторы обнимает с самого утра.
Ширь голубых небес вместившее пространство,
о степь ойратская, она всегда прекрасна.

Здесь у Европы на краю очерились овраги.
Не шелохнется лист травы. Такая тишь.
Все замерло как будто в ожидании атаки
калмыцкой конницы,
той самой, что брала Париж.

1990

ИЗ АНКЕТЫ БУРМОНА

О себе

Служитель муз Эрато, Каллиопы и Клио,
свой жребий я несу, как свыше мне дано.
Хотя порой и донимает суета,
я знаю, что во мне зажглось и навсегда.

Об интересах

Литература, мифология, фольклор...
Лик вечности рассыпан в брызгах дня.
С былинки начинается простор,
С байкальских волн Евразия моя.

О музыке

Классическая музыка. Органная –
пожалуй, мне особенно желанная.
Но в тихие минуты ностальгии
приятны мне мелодии степные.

О фильмах

Когда-то Крестный был отец
и пролетали Журавли,
и Чарли Чаплин, наконец,
мне улыбается вдали.

О художниках

Кисть, бредящая небом, снится мне –
Кифаре Аполлона вторит Клод Моне.

О книгах

Конечно, Пушкин, весь в заветной лире,
Басё, Аполлинер и Рильке,
и век серебряный, и бронзовый,
возвысивший поэзию над прозою.
И «Сокровенное сказание монголов»
из тьмы веков мне подает свой голос.

О телешоу

Наш мир – огромное телешоу,
но есть еще Бернارد и Ирвинг Шоу.

О читателе

Чита, Улан-Удэ и Петербург вдали –
Читатель мой везде, пока звучат стихи.

Об играх

Не спешу – это время спешит.
Путь далек еще, мой караван.
Я любил королевский гамбит,
а теперь по душе – Каро-Канн.

И бокалов вечерний звон
я меняю порой на пинг-понг.

Из восточной мудрости

Два глаза у человека,
два уха и один рот –
это значит,
надо больше видеть,

надо больше слушать
и меньше говорить.

Еще

Желанный миг –
чтение книг.

Отдохновение –
предаваться лени.

Хобби –
скучать по Гоби.

* * *

С.С. Бардахановой

Есть, говорят, на этом белом свете
береза, что в стране богов растет.
А на ее вершине, веруя в бессмертье,
волшебная кукушка сотни лет поет.

Она поет, и все кругом светлеет,
она поет, и льется с неба синева...
И круглый год – зимой и летом – зеленеет
на той березе самой нежная листва.

Она поет, и тот, кто голос ее слышит,
становится счастливей, чем вчера.
Нисходит благодать к царям и нищим,
и в мире чаша наполняется добра.

И неспроста тот певчий голос поднебесья
звучит в просторах солнечного дня.
Для тех, кто сам поет и собирает песни
как трепетные знаки бытия.

И разве не в призванье этом счастье –
идти по следу мудрых сказок и легенд.
И обретать свой путь в земном пространстве,
и находить в душе своей богам ответ.

Не потому ль поет самозабвенно птица
на самой на высокой из берез.
И длится миф, и миг бессмертья длится,
и жизнь полна великих тайн и грез.

2010

* * *

Национальное начало –
оно из глубины степей.
Чтоб кисть других не повторяла,
омой ее водой Байкала
и обкури дымком аргала
и освети судьбой своей.

А искра божья верховодит
и освещает трудный путь.
И только тот, кто света воин
и на высокое настроен,
однажды родине откроет
в поющей кисти свою суть.

ВЕРХАРН НА ВЕРБЛЮДЕ

Верхарн – снилось мне – едет

Верхом на верблюде.

Передние ноги бактриана увязают в аравийских

Песках, а задние – в кызылкумских барханах.

Уж очень приятно ехать на таком верблюде,

У которого передний горб, как Пизанская башня, а второй –

Укачивает, как волна Хокусая.

При этом поступь какая у верблюда –

Перешагивает он материки и моря, словно лужи.

Что там родная Бельгия на фоне земного пространства,

Что-то похожее на шейный платочек на груди Европы.

Ширь зато какая с верблюжьих горбов открывается взору,

Ширь, опоясанная еще не рожденными стихами,

Анафоры золотятся в лучах восходящего солнца,

Амфибрахии пасутся в тени оазисов,

А гекзаметры бредут друг за другом, как стадо слонов к водопою.

Ведомые

Верхарном, оседлавшим

Верблюда по названью

Верлибр.

ДЕВЯТИСТИШЕ

Окна моих сновидений выходят на мир миражей.
Око светится вечности в каждой дождинке,
Околдованной безмолвием неба.

Семирамиды сады возникают снова в пространстве,
Семизвездие Медведицы, растаяв над ночным горизонтом,
Семицветием радуги отражается в уличных лужах.

Тары ли Белой улыбка, осеняющая будничные волны сансары,
Танец ли снежинок, кружащихся в свете полночного фонаря,
Тает пространство и время во мне – тайнопись света и мрака.

У ТРОИ

Вот и увидел я Эгейское море.

Плывут корабли под белыми парусами по лазурной линии горизонта, прикасаясь к небесам. Плывут и плывут и будят во мне грезы далекого моего степного детства о стране Илиады.

Брожу по раскопкам Трои весь день.

В тени раскидистой оливы сидим мы с Мустафой – моим гидом, и он продолжает рассказ об Илионе, о том, что написал целую книгу на английском языке.

Турки, потомки великого Тэнгри, принявшие ислам, хранят развалины Трои.

Метаморфозы или зигзаги истории...

Да, говорит он, мы тоже с Орхона, из Внутренней Азии, ушли навсегда, чтобы здесь поселиться.

Голубоглазый, глядит на меня, улыбается: «Какими мы были похожими десять с лишним веков назад, а какие теперь мы разные стали, как не похожи теперь мы друг на друга...».

А по Эгейскому морю плывут корабли под белыми парусами по лазурной линии горизонта, прикасаясь к небесам. Плывут и плывут, и вновь оживают во мне бессмертные песни Гомера.

ЭХО ЭЛЛАДЫ

Эллин в душе я немного, хотя по рождению и предкам азийский
кочевник.
Эхо сказаний, рожденных от муз олимпийских, в детстве моем
откликалось.
Эос розовоперстая мне над степью мерещилась в час золотого
рассвета –
Это струна Илиады во мне отзывалась сквозь пространство и
время.

Все начиналось,

конечно, в детстве, в маленьком бурятском селе под необычным названием Арбузово. В школьной ограде, где жили учительские семьи, окружала мир моего детства особенная аура, наполненная образами из прочитанных книг. Пожалуй, самой любимой из них были «Легенды и мифы древней Греции» Куна. Как ни странно, о родных бурят-монгольских божествах – Эсэгэ Малане, Хухэдэй Мэргэне, Хан Хормусте – я узнал намного позже, чем о Зевсе, Посейдоне и Аполлоне. Такое было время.

Все-таки многое

возвращается на круги своя. Но для этого надо смотреть не только на Запад, но и на Восток. Помню, меня удручало сознание того, что я, несмотря на свой диплом о высшем образовании, так мало знаю о тэнгрианской вселенной моих истоков – о том, что мне полагалось элементарно знать, родись я на тысячелетие раньше.

Вот так однажды

приходит прозрение, и однажды эпос «Гэсэр», передававшийся из уст в уста, из столетия в столетие и сохранивший небесную свою родословную, стал моим поводырем и открыл мне дверь в сакральный мир моих предков. И степное небо, пустовавшее прежде в моем воображении, наполнилось ликами тэнгри-небожителей, которым возносили кочевники свои призывания в прежние времена, подобно тому, как древние греки поклонялись олимпийским богествам.

Возраст приходит

оглянуться на далекие, но милые сердцу годы, растаявшие сизой дымкой над простором земли. Оглянуться и снова вспомнить настольную книгу детства, со страниц которой вставали образы эллинских богов и героев. Да, историю Трои я не посмел бы сдать на тройку, будь у меня экзаменатором даже сам всеведущий Зевс – «молниевеержец и тучегонитель», и я бы рассказал ему вдобавок о Млечном Пути, который образовался не только от разлившегося по небу материнского молока богини Геры, царицы Олимпа, кормившей грудью Геракла, как сказано в греческом мифе, но и от молока богини Манзан Гурмэ, праматери тэнгрианских божеств, окропившей белыми священными каплями путь Гэсэра с небес на землю...

Так просыпалась ответно во мне волосая струна морин-хура.

Тайны великих божеств открывали мне двери к духовным
истокам.

Значит, сам Гэсэр – брат Геракла по духу спускался с неба на
землю,

Знак подавая небесный и мне, возмечтавшему песню сложить
о вечном.

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА БЕРЕГУ КЫРЕНКИ**I**

Струится по камням Кыренка
косою расплетенной синевы и гор,
вся в блестках солнца и вечерних звезд.

Здесь было летнее кочевье
потомков рода древнего хоршид,
прикочевавшего в Тункинскую долину
в годину распрей и междоусобных войн,
терзавших
Монголию семнадцатого века.

И младший сын по имени Халзай,
что предком стал моим в шестом колене,
в Оке – долине Бурэнгола
дал древу родословной продолженье.
И разрослась земная крона
потомков рода древнего хоршид
под небом голубых Саян –
страны Хухэй.

И прародительница
Жаргал хатан эжы,
чей бубен помнил
о небесной родословной,
живет в легендах и преданьях.

И Таршагар неистовый –
Кыренского дацана
первый настоятель
оставил след свой в памяти народной.

Как все переплелось в тенётах родословной:
монгольской древности простор
и гул кочевий от Тибета до Байкала,
ойратских сабель блеск
и предсказание Ундэр-гэгэна,
шаманских бубнов рокот
и ламских мантр речитатив,
Степи Великой грозное дыханье
и тишина Саянских гор...

Струится по камням Кыренка,
косою встряхивая искристых волос,
и брызги окропляют берега.
Теперь здесь выросло селенье,
райцентром ставшее...
Здесь юрты восьмистенные дымились,
паслись стада.
Теперь по тракту мчат «Колхиды»
и вьются провода.
Здесь храм стоял, напоминая
о том, что истина и тлен.
Теперь над каждой крышей
играет мир струной антенн.
Живет в мгновеньях век минувший.
Шумит, шумит река времен,
но голос прошлого все глуше,
и оттого мне все дороже он.

II

С высокой трибуны Генсек объявляет о новой исторической общности людей, именуемой советским народом. Все это похоже на правду, но...

Скуластый историк с оглядкой на Кремль уверяет, что история его народа начинается с XVII века – с присоединения к России. Все это похоже на правду, но...

Сверкая медалями на груди, поэт воспекает родословную своего народа – с 17-го года, с выстрела «Авроры». Все это похоже на правду, но...

III

Мы живем, словно дети природы, средь дымных широких
степей.

Убаюканы души великою сказкой о братстве людей.

Мы не помним своей родословной, берущей начало у Неба.
Мы не ценим язык свой, который дороже алмаза и хлеба.

Славим старшего брата и мудрых вождей в золотых песнопеньях
и гордимся судьбой, забывая о том, что стоим на коленях.

IV

Нить времен и поколений еще не оборвалась. В Баргузинской степи помнят о Буртэ-Шоно – прародителе древних монголов и о его кочевье на поднебесном склоне горы Бархан уула. Эхо священных молитв, обращенных к Буха-нойону – тотемному предку бурят, еще отдается в долинах рек, несущих свои воды к стремительной Ангаре.

Буддийские лани, сойдя с разрушенных храмов, еще не ушли из сердец матерей седовласых и их подрастающих внуков.

V

Почему «Сокровенное сказание» начинается с родословной Чингисхана? Наверное, ему не раз, еще до сватовства к Буртэ, отец Есугей напоминал о родословной и о прародительнице Алан-гуа родом из страны Баргуджин-Тукум. Не потому ли эту землю первой назвал в своем завещании-благопожелании Чингисхан в триаде священных для его сердца просторов: Баргуджин-Тукум – земля предков, Онон – земля его рождения и детства, Керулен – земля, где его подняли на белом войлоке как правителя поднебесной степи и нарекли Чингисханом.

VI

О чем же думал мой предок Эрэн,
поклоняясь Ундэр гэгэну?
Каждый камешек благословен,
как бусинка в четках вселенной.
И катилась кочевий волна
по порогам Зангисана.
Степь вставала на стремена,
обернувшись лицом к Саянам.
Собираю истоки свои,
по столетьям брожу как странник,
наконечник каждой строки
омываю в струе преданий.
Я-то знаю, что мне суждено,
может, в этом и кроется тайна,
почему повернуться спиной

не могу я к волне Зангисана.
Настигает меня волна,
с ног сбивает и вновь подымает,
и в травинке прибрежной струна
для меня, для меня оживает...

VII

Кто вы, хоршиды-хорчины? Хор-па, скажите, кто вы, откуда?
Каждый кочевник корень «хор» произносит как мантру истоков.
Камень хранит свою память о горной вершине, восставшей
до неба.

Капля лелеет слезу свою, отражавшую глубь и лазурь океана.
Как мой народ собирался, на вольных просторах равнины и леса?
Карма империй степных и карие кони несбывшейся воли.
Кара сменяется аурой, пламенем племя в пространстве стораает.
Корни из пепла восходят, «хор» – заклинание сутры времен.

VIII

Сколько на свете Монголий
прячет в себе материк:
сколько любви и боли
несет материнский язык.

Монголия Южная –
Монголия Внутренняя:
солнечная, выюжная,
древняя, утренняя.

Монголия Северная –
Монголия Внешняя:

гобийскому ветру верная,
горная и безбрежная.

А звезда уводила на север,
и клонились на юг ковыли.
Храп коней превращался в ветер,
горизонты – в сказанья небес и земли.

Я кочую по кругу,
возвращаюсь к себе.
Стрелу доверяю луку,
а дорогу – своей судьбе.

IX

В каком тысячелетии мое начало?
В пустыне Гоби или у алтайских каменных твердынь?
История коней однажды оседлала
и указала путь коням трава полынь.

И знаю я, что есть истоки родословной,
связующей с веками мой короткий миг.
Травинка я и сын небес, я выдох снов и молний,
я океан в своей слезе и нежности родник.

1982, 2011

РОДИНЕ

В каждой горной теснине мне чудится Эргунэ-кун.
В каждой мудрой красавице мне видится Алан-гуа.
Это отчий мой край – серебристый от полных лун,
это небом хранимая единственная моя страна.

Обнимаю я мысленным взором простор Баргуджин-Тукума,
возлагаю свой камешек на склоне Хухэй – Саян.
И рысит по векам, сторонясь автострадного гула,
вечный всадник, ведущий в грядущее свой караван.

Из котла Чингисхана пью аршан у подножья скалы.
Даль светла от дыханья сказаний былых и легенд.
Надо мною кружатся хозяева неба – орлы.
Предо мною струится Байкал как песнь в мириады лет.

На вершине гор моих предков меч хранится Гэсэра.
Нерушимый покой исходит от небес голубых.
И в светящейся мантре любви продолжается светлая эра,
и слагается тихая сутра летящих мгновений моих.

Кто привел меня в этот, кипящий зеленою хвоей простор?
Кто вручил мне струну из серебряных нитей дождя?
Почему даже холмик в степи для меня как престол
песнопений моих, обнимающих горечь и свет бытия.

Ибо горы мои – коновязь бесконечной вселенной.
Ибо синий Байкал мой – снов евразийских хадак.
Я однажды уйду навсегда, но сюда возвращусь непременно,
потому что я верю, что все будет именно так.

Обнимаю я мысленным взором страну Баргуджин-Тукум,
возлагаю свой камешек на склоне Хухэй – Саян.
Это отчий мой край – колыбель моих песен и дум,
это небом хранимая моя земля – талисман.

ГОРОДСКИЕ МИРАЖИ

* * *

Продолжается сага времен.
И в веках заблудившийся скальд
на оглохший садится асфальт
и поет про степной небосклон.

И нависший над городом гул
исчезает в пространстве тоски,
и в пустыне цветет саксаул,
осеня листвою пески.

И оживший в барханах скелет
превращается в белую лань,
и летит она в сизую даль
сквозь пунцовый закат на рассвет.

И глядят, оседлав облака,
небожители с горных высот.
И струится к истокам река,
приближая к земле небосвод.

Есть мгновения – явь словно сон.
Скальд свою созидает страну.
Продолжается сага времен,
и мираж обретает струну.

КРЫЛЬЯ

Знал он: возня мышиная
и чириканье воробьиное,
и пересуды сороочи,
и кудахтанье и прочее –
это не его удел.

Знал он, что рожден он с крыльями,
может быть, лебедиными,
может быть, и орлиными,
но, во всяком случае, не куриными,
только расправить их не умел.

А воробьи – его современники,
тополиных веток пленники,
только в чириканье верили
и крылышками куцыми мерили
мир тополей городских.

И уживаясь среди их чириканья,
улюлюканья и пиликанья,
показался себе он сереньким,
в желаньях своих умеренным,
позабывшим о крыльях своих.

Но крылья сами о себе напомнили,
и однажды над землей его подняли,
воздухом неба наполнили,
чтобы снился над морями и долами
всплеск волны и росинок блеск.

То несли его крылья журавлиные,
может быть, и лебединые,
может быть, и орлиные.
И сквозь клетот звучало курлыканье,
словно песнь небес.

2000

* * *

Виадук в окне. Асфальт. Привычно
рядом громыхают поезда.

А в квартире тихо, только слышно,
как из крана капает вода.

А часы как будто не идут.
Тополь под балконом. Виадук.

* * *

И залюбовался я невольно
дымом, выходящим из трубы.

Обернувшись облаком сперва,
белизной он был подобен снегу.
Солнце золотило его сверху,
обнимала сбоку синева.

Но цену я дыму осознал
на планете, ставшей горожанкой.
На газонах мертвый снег лежал,
словно века черная изнанка.

* * *

Снежинок ранних пачки
кружатся между крыш.
Я вспомнил о землячке,
уехавшей в Париж.

Муж, говорят, ученый
ее боготворит.
Каштанов мир зеленый
над Сеной шелестит.

Сменяет утро вечер.
И город не такой,
чтобы глядеть на север
с щемящею тоской.

Но что ж такого – Сена.
А здесь есть Селенга,
и жизнь благословенна,
там, где твоя тоска.

* * *

Вот и встретились три азиата,
скинулись на зун грамм.
Капнули, чем не отрада –
каждый почувствовал сам.

Рано нам ставить точку
в жизни, которой живем.
Грусть, что несем в одиночку,
лучше делить втроем.

Много ль для счастья надо.
Каждый по-своему прав.
Встретились три азиата,
выпили по зун грамм.

И как всегда не хватило,
скинулись дружно еще.
Мир не такой уж постылый,
и на душе хорошо.

АРХИ

Наверно, со времен Адама,
а может, раньше, вопреки
запретам всем, течет упрямо
источник вечности – архи.

Где боги и жрецы святые?
Их нет давно, зато архи
струится, как река в пустыне,
и оживают миражи.

И даже слово «архивариус»
ласкает мой бурятский слух.
И усмехается вновь Бахус
и искушает плоть и дух.

Глоток священного зун грамма,
и льются песни и стихи.
И рубаи Омар Хайяма
напоминают об архи.

Архи – вновь в мире все прекрасно.
Архи – вновь миг неповторим.
И не случайно «архиважно»
товарищ Ленин говорил.

* * *

Звенят на кухне шкалики,
граненые стаканчики.
Мы все немножко алики.
На кухне мы, как в ялике,
плывем себе, без паники,
и слышим моря шум.

Ну что же, братцы-кролики,
не винтики, не нолики,
ночные трудоголики.
С бутылочкой на столике
плывем себе, соколики,
и волны бьются в трюм.

В наш век быть трудно благостным,
не лучше ль быть под градусом,
и плыть под рваным парусом,
и спорить с морем яростным,
и видеть путь под ракурсом
своих тревог и дум.

1982

* * *

Бывают в жизни узелки,
что завязал для нас Всевышний.

Не потому ль звучат стихи
отточенные, как клинки,

не потому ль важны враги,
чтоб доказать, что ты не лишний.

НЕДРУГУ

В змеиной злобе весь немея,
во мне он видит тоже змея.

И распускает небылицы
и бред несет, как говорится.

И кто-то примет гадость эту –
увы – за чистую монету.

Ну что ж, я спорить не умею.
Бывают разными и змеи.

Я уж, а он как есть гадюка.
Его язык – тому порукой.

ЭПИГРАММА

Гордился этим он стократ,
что лбом он вылитый Сократ.

Но сходства призрак исчезал,
как только рот он раскрывал.

Мораль отсюда такова,
что лоб еще не голова.

* * *

Снова под утро приснился
сон – уже который раз.

Лечу по городу, над трамвайной линией.
Взмахиваю руками, раздвигаю их от себя,
как при плавании брассом –
поднимаюсь выше, над проводами,
еще взмах руками –
и лечу над крышами в сторону гор.

В небе – простор, земля плывет где-то внизу.
Необычное сладостное ощущение.

Словно я птица,
в человеческом обличье.

БУУЗЫ

Бурятские буузы. А кто их не любит?
Родные, дымятся они на столе.
И гостя любого они приголубят,
как знак угощения, в каждой семье.

Берешь их руками, надкусишь немного,
а сок – он буряту всегда по нутру.
И мясо нежнейшего свойства, ей-богу,
поскольку варилось оно на пару.

А буузы хорошие – тоже искусство,
и это поймет, кто готовил их сам.
И чтобы все было прекрасно и вкусно,
не грех пропустить ну хотя бы сто грамм.

И кто же не любит бурятские буузы?
А судя по гостю, наверное, все.
Желудок довольный поет ариозо,
и бродит улыбка на каждом лице.

А ВСЕ-ТАКИ СКАЖИ

В. Булдаеву

Наверно, пить из вазы –
особый шик.

Я так не пробовал ни разу.
Я из стакана пить привык.

И мы живем, и в ус не дуем.
И делимся на красных и чужих.
И космос яростно штурмуем.
И мать-природу бьем под дых.

И мы уйдем и повторимся снова
в другом обличье и помногу раз.
И будешь тигром ты, а я коровой,
и человеками – в свой звездный час.

И повторятся те же сны и миражи.

А все-таки скажи,
мой друг, кто мы?
Возникшие из света или тьмы?

Куда идем, откуда?
И кто мы есть, случайное явление?
Космическое недоразуменье?
Или божественное чудо?

И почему на нас, мой друг,
не знающих самих себя,
замкнулся бытия –
земли и неба круг?

Из вазы
растут серебряные вязы.

1982

* * *

Торшер – и снопик света
покоится на книге.

Мы путники,
и каждый обречен
брести в своей пустыне,
и миражи передавать
своим потомкам.

В час полночный
дым от сигареты
сливается с печалью,
как дымкой души моей.

Торшер –
коновязь ночного одиночества.

* * *

Со слезами на глазах
фильм смотрю «Летят журавли».

Мама рассказывала, как ее одноклассники,
в скорую веря победу,
ушли добровольцами в 41-м году.
И никто не вернулся.
И уже никогда не вернется.

Со слезами на глазах
фильм смотрю «Летят журавли».

Помню, это было недавно.
Подожли с притихшею мамой к обелиску,
что встал посредине Кырена,
небольшого райцентра у подножья Саян.
Имена невернувшихся выбиты были
на мемориальной доске.
Среди десятков фамилий
мать узнала имена своих одноклассников.
Боже, сколько печали
в светлом воздухе растворено.
Горы гордо сияли вдали,

лист осенний кружился
и не падал на землю.

Со слезами на глазах
фильм смотрю «Летят журавли».

Рядом дочка моя ручонками машет
и глядит на экран,
и кричит от души, и смеется.
Не понимает она,
что родилась в очень страшном и горьком столетье.

Из светлых песен – самая печальная,
из грустных песен – самая нежная,
из вечных песен – самая хрупкая,
это и есть – жизнь.
Блики на темной бегущей волне.

В сердце моем – горечь земли.
В небе моем – летят журавли.

1982

* * *

Я чувствую, что мне дано
от жизни смертной и от бога.
И чертят молнии окно,
и с веком спорит третье око.

Что это – тайный знак небес
иль правит чья-то воля злая?
Остался я таким, как есть,
а жизнь пошла совсем другая.

Пора, мой друг, уgomониться
и пыль стереть с усталых скул.
Но ввысь опять взлетает птица,
и обретает крылья гул.

БЕСЕДА С ЛУНОЙ

Опять в ночной тиши встает над тихим городом луна.
Луна – о ней забыли все. Лишь для поэта есть – Она.
Последний укатил трамвай. Привычно светят фонари.
Иду по скверику один, а в небесах луна – одна.

Владычица ночной вселенной вся сияния полна.
Разбрызгивая лунный свет, плывет над миром тишина.
Который раз в полночный час гляжу, гляжу на небеса.
Такая участь – знаю я – лишь странникам мечты дана.

И лунный свет струится, обнимая мир и времена.
И почему меня влекут ночных созвездий письмена?
Баир Дугаров, так зовут меня в подлунном мире сим.
Я жаворонок ночи, чья при свете звезд звучит струна.

РУБАЙАТ

1

Мир так зыбок. Например,
нет уже СССР.
Но опять сияет месяц в небе
в виде буквы Р.

2

Не говори ни хорошо, ни плохо.
Прекрасней нет цветов чертополоха.
Молчит струна. Смешался с адом рай.
И это называется – эпоха.

3

Дымится от окурков уличная урна.
Кому-то весело сегодня, а кому-то дурно.
А я иду, как невидимка, по земле
и вижу в сновиденьях спутников Сатурна.

4

В наш пошлый век не пишут рубаи.
Под гул машин умолкли соловьи.
А я по-прежнему лелею песню
о женщине, а значит, о любви.

ШАМАН НА ПЕНСИИ

Он, смертный, держит востро ухо,
чтоб знать, в каком расположенье духа
сегодня пребывают горы.

Глядит, как в небе месяц тает,
как снег лежит – ничто не ускользает
от пристального взора.

Он звезд и знаков собеседник.
И этим самым он – посредник
между мирами – дольным и небесным.

А простодушным мнится скотоводам,
что обладает даром он чудесным
и тайно связан с небосводом.
И ходят разговоры не случайно,
что ясновидческие гены,
от пращура берущие начало,
им овладели постепенно.

Шаман, как прежде, не камлает.
Он над землей во сне летает.
И небожители печально

сквозь дым, по небесам ползущий,
глядят на век индустриальный,
прикрывшись грозовою тучей.
И молний огненные знаки
выводит небо в полумраке.

А время мчится неоглядно.
Шаман читает прессу аккуратно.
И днем, бока на солнце грея,
бредет пенсионером по аллее,
от мира перезрелого уставший.

Деревьев золотится крона,
и отдается шорох грома
в листве опавшей.

1987

ГОД ЗМЕИ

В 1917 году
произошло событие,
которое советские историки назвали
Великой Октябрьской революцией.
Это был год Красной Змеи
по восточному календарю.

В 1941 году
грянула война, которая
огромною ценою
принесла победу над фашизмом.
Это был год Стальной Змеи
по восточному календарю.

В 1953 году
ушел из жизни Сталин,
правивший страной более тридцати лет –
дольше, чем кто-нибудь из Романовых.
Это был год Черной Змеи
по восточному календарю.

В 1989 году
начала по швам расползаться
евразийская супердержава,
обещавшая светлое будущее
подростающему поколению
и которую заокеанские недруги
окрестили Империей зла.

Это был год Желтой Змеи
по восточному календарю.

Колесо истории со скрипом поворачивается,
делая новый поворот.

Век двадцать первый, не успев еще на ноги встать,
Ветром событий
Наполняет паруса
Намагниченных мгновений.

Город, как обычно, февральским снежком заметает.
Горбится тополь, словно под бременем раздумий.

Годом Белой Змеи
Голос подает простор земли –
Громко, на всю вселенную.
Третье начинается
Тысячелетье.

24.02.2001. Улан-Удэ

ПОЛНОЧНАЯ ВСТРЕЧА

В один из темных вечеров
(можно сказать, почти в полночь)
встретилась старая знакомая, еще с прошлого века.
Взяла под руку и, заглядывая в глаза,
как бы невинно, с легкой ехидцей спросила:
«Но как тебе пишется, дорогой поэт?».

Ей-богу, я затруднился с ответом.
В это беспардонное, с убийным оттенком время,
признаваться,
что ты поэт,
это значит, расписываться
в полной отрешенности от того,
что творится вокруг,
это значит, признаваться,
что ты не от мира сего.

А жизнь такие выкидывает номера,
что людям теперь просто не до стихов,
не до стихов – и все.
Вот такое бывает –
ни где-нибудь,
а в самой читающей,
теперь причитающей,
стране.

А стихи, как ни странно, бродят в душе,
именно бродят,
именно в душе,
А где им, стихам, бродить, когда есть у человека душа.

– А знаешь, – я все же ответил. –
И втихомолку стихи рождаются,
на этом не очень белом свете,
как незаконные дети
нынешнего лихолетья.

Видишь, как ты в рифму заговорил, –
женщина прошелестела.
И упорхнула,
как будто ветром сдуло.

А ножки ее на тонких высоких каблучках,
отдаваясь эхом в моих ушах,
еще цокали по асфальту,
словно вбивали последние гвоздики
в гроб ушедшей навсегда эпохи.

24.08.2001

* * *

Нельзя,
да просто невозможно
планировать стихи.
Или предсказывать
их скорое рождение.

Кошунственно подсчитывать
количество строк,
написанных на одном дыханье.

Мне кажется,
синоптикам и бухгалтерам
не место на Парнасе,
хотя их там так много
развелось,
как туристов в Коктебеле
в бархатный сезон.

О ВЕРЛИБРЕ

Ю. Орлицкому

Однажды
неожиданно
у меня родился верлибр,
действительно,
свободный,
как дыхание, стих.

Словно муза,
устав от рифм,
сплетенных в тугую косу,
решила поменять прическу
и, встряхнув небрежно головой,
распустила
заструившиеся по плечам
шелковистые волосы.

ИМПРОВИЗАЦИИ НА ТРАМВАЙНУЮ ТЕМУ

1

Если б уличный трамвай
мчался б только
по прямой,
я бы через Парагвай
приезжал к себе домой.

Вновь ручьи бегут ярься.
Вновь январь
несется к маю.
На трамвае за год раз
я вокруг солнца объезжаю.

2

Вновь начинается утро трамвая.

Вновь металлический звук
издавая,
мчится по городу первый трамвай,

мчится и гладит, как красный утюг,
улицы рукава.

3

Трамвай бежит
быстрее гурана,
быстрее,
чем заяц от орла,

проносятся
со свистом будни,
миров кружится
чехарда,
и вагоновожатой
грудь
из кофточки
настырно выпирают,
как два рожка бодливой
антилопы.

4

Так продолжается век.
Город шумит за стеной.
Молча глядит человек
в полуночное окно.

Что обещает свет?
Что легло на весы?
Кружится медленно снег.
Мерно стучат часы.

И опять дребезжит
будничный трамвай.
И усами шевелит
трын-травя.

МАКАРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ**Сон Тумэна**

Я хочу дахин дахин.

(А. Введенский)

Сладкий сон Тумэну снится.
Видит терем наш Тумэн,
Открывает дверь девица
и зовет его в светлицу,
говорит: «Тургэн, тургэн».

Знаешь, что на свете слаще?
Ласка женщин и архи.
Ты попробуй браги нашей.
И подносит полной чашей,
говорит: «Бари, бари».

Полночь пенится, искрится.
На душе совсем светло.
И дахин, дахин девица
шепчет: «Нам пора ложиться,
а архи – боло, боло».

Тут-то наш Тумэн проснулся:
спит в гостинице один.
Снова набок повернулся,
в одеяло завернулся,
захрапел дахин, дахин.

Зунтэгло^{*}

Что же бабка загрузила,
и куда-то понесло.
Что-то хочет вспомнить, но забыла.
В огород чужих козлят впустила,
сериальчик пропустила.
Зунтэгло.

Тридцать лет за ней крутился.
Наконец-то повезло.
Он к любовнице явился,
от избытка чувств напился.
А зачем пришел – забылся.
Зунтэгло.

Отсверкали в битвах сабли.
Позабылось Ватерлоо.
Сколько раз с огнем играли.
И опять пылают где-то дали,
наступает мир на те же грабли.
Зунтэгло.

^{*} Зунтэгло – от *зунтэглэхэ* (бур.) дряхлеть, впадать в детство, выживать из ума.

Застольное

Как сказал наш Гуррагча,
пейте с тостом – урагша!

Как сказал Омар Хайям:
«Молча пить амар хаям».

Как сказал Хемингуэй:
«Нам, друзья, хамаа үгэ».

Макаронический романс

Хорошо бродить с тобою
с самого утра.
Светит солнце золотое –
шаб шара.

И нависнув над землею,
в облачной дохе,
небо смотрит голубое –
хуб хухэ.

А в тени густой под ивой
льется слов дурман.
Губы нежные у милой –
уб улаан.

Светотени зыбкий танец
и девичий стан.
На щеках горит румянец –
яб ягаан.

А улыбчивые очи
излучают свет костра,
словно две степные ночи –
хаб хара.

И светясь в знак нашей встречи,
из волшебных стран
облака плывут овечьи –
саб сагаан.

Как в тиши ласкал тебя я,
как я был влюблен,
знает лишь трава степная –
ноб ногоон.

О ЛЕНИ

1

Проходит каждый день в боренье
с разливами восточной лени
в моей душе, в моей крови.

А я – сова, и мне все снится,
как в жаворонка воплотиться –
посланца утренней зари...

2

Как лось, которому в загривок
вцепилась рысь и не дает бежать,
я каждый день
с себя упорно стряхиваю лень.

А лень –
она как тень
не отстает,
за мною вслед идет.

Она порою, как ручной олень,
со мною дружит, ластится в тиши.
Тогда она уже не лень,
а нежная любовница души.

3

А может быть, поэт – заложник лени
в преддверье вдохновенья.

Желанный миг приходит мой,
и прерывается досуг,
и, оперив стрелу строкой,
натягиваю лук...

ЗИМНЯЯ ГИПЕРБОЛА

Приходит длинная сибирская зима.
Мы северная все-таки страна.
Из океанов ближе Ледовитый,
и дух его, морозный и сердитый,
ширь повергает в царство ледяного сна.

Как будто айсберги, сойдя на материк,
преображаются в хребты Хамар-Дабана.
К гортани примерзает мой язык.
И в шепот превращается мой крик.
И снятся сны блаженствующего в спячке тарбагана.

Метель опять сравнила землю с небом.
И занесло луну до лета снегом.

ИЗ ЗАПИСОК МЕДВЕДЯ

Говорят, что когда-то в прежние времена
превращались люди в зверей,
чтобы чувствовать вольно себя.

Вот и я однажды превратился в медведя,
убежавшего из тайги,
а точнее, в шатуна обратился,
забредшего в город вечерний
в самом начале зимы,
когда морозы рождественские горожан загоняют
в их теплые, с евроокнами в каждой комнате квартиры,
где мыльные романы по ТВ чередуются
с ночным плейбоем и балетом по каналу «Культура»,
и в воздухе висит,
как пуховое обливавшее одеяло,
растянутое облако смога –
от извергающих клубы сизо-сиреневого дыма хоботов ТЭЦ,
на которые каждую зиму молятся втайне горожане,
начиная с мэра, в надежде,
что переживут без проблем очередную холодрыгу.

А мне, в моей шкуре медвежьей, тепло, как в лучшем из пуховиков,
даже жарко становится,

когда я бреду по городскому проспекту,
увенчанному ореолами света –
желтыми пышными одуванчиками,
вокруг фонарей,
на ходулях столбов вышагивающих размеренно
перед рядами новоявленных высоток
вдоль тротуаров взад и вперед,
как часовые – караульные стражи ночной,
словно в немом кино,
обходящие, как заведенные,
крепостные стены средневекового замка.

Вот я иду по проспекту,
обхожу осторожно прохожих, особенно дам
в шубках тяжелых своих меховых, так похожих
на сестриц моих – медведиц.
А машины – откуда их столько взялось:
маршрутки летят кабанями,
за ними, как гончие псы, иномарки несутся,
на ходу испуская вонючие газы.
А мне, косолапому,
с непривычки неумогу от таких скоростных пердунов.

Зайду-ка я лучше в магазинчик цветочный
с названием звучным «Жасмин»,
дабы очиститься хоть на чуток
от дьявольских выдыхов цивилизации
и подышать на цветы,
ждушие радость принести всем, кто их покупает.

Как только переступил порог
этого тихого приюта праздничной флоры,
продащица – милая незнакомка,
с миндалевидными, искристо-карими глазами
и взглядом лесной антилопы,
словно нимфа из свиты Артемиды,
улыбается мне, одиночному посетителю.
Видно, в сегодняшний вечер
никому из уважаемых горожан никакого дела нет до цветов:
Новый год отошел, до Восьмого марта неблизко,
а юбилеи бывают нечасто.

Розы густо-бордового цвета и алые,
желтые лилии и белые хризантемы,
букетная зелень –
папоротник, гипсофила и пальмовые листья...
А цветочница мне говорит, что цветы-то не наши,
а привезенные издалека, из Голландии,
ставшей лучшею в мире страной по разведению цветов.
Вот это да, я подумал, покорить полмира не мечом,
как монголы когда-то,
а цветами,
самыми нежными и хрупкими на белом свете существами.

А цветочница – и с чего это вдруг? –
мне так загадочно улыбается,
словно хочет что-то сказать,
что я заглянул сюда не случайно,
или мне, чудаку, показалось.

А может, мне тоже для легкой затравки
сказочку рассказать об аленьком цветочке или печальном нарциссе.
А потом рассказать мне что-нибудь
из репертуара моей бабки-медведицы,
знавшей все таежные сказки и были и
водившей меня в далеком детстве
по священным местам в медвежьих углах,
где когда-то молились медведи своей прародительнице –
восшедшей на небо семиглазой Медведице.

А квартира моя в хрущевке, на пятом этаже, под самой крышей.
А мне, медведю, это самое то.
Иногда, чтоб расслабиться,
открываю в полночь окно и, запрыгнув на соседний тополь,
лажу по деревьям, пока не надоест.
И, устроившись на макушке развесистой лиственницы,
долго сижу, созерцая Медведицу.
Ближе к утру,
когда звезды завершают свой хоровод по небу ночному,
она встает на дыбы, заслоня собою весь небосвод,
и рев ее отдается во всех уголках вселенной.
Вот такая она, моя прародительница Медведица.

А мое основное отличие от людей в том,
что я считаю себя произошедшим не от обезьяны,
а от медведя, хотя никому не открываюсь в этом.
А люди, если разобраться,
вряд ли все произошли от обезьяны.
Поглядеть на моих соседей по этажу:

один из них волком каждый раз глядит на меня при встрече,
а другой, как напьется, рычит на жену уссурийским тигром,
загнанным в клетку.

А третий, важный такой и вальяжный,
смахивает на пингвина, хотя сам не подозревает об этом.

Как тут не вспомнить про один стародавний миф.

Зевс, говорят, поручил Прометею создать людей.

Нет чтобы самому за работу взяться,
он взвалил ее на брата своего Эпиметя.

Тот, чье имя означает «думающий после»,
начал из глины лепить сначала животных,
и так увлекся, что вспомнил о человеке,
когда глины оставалось почти ничего.

И пришлось Прометею самому род человеческий создавать,
отщипывая по кусочку от разных животных.

Вот почему изначально

заложены в людях звериные признаки:

храбрость – от льва, трусость – от зайца,

хитрость – от лисы, упрямство – от осла и так далее,

причем порой в человеке того и другого бывает в избытке.

Вот так незаметно и время проходит.

Зайцем проносятся дни.

На дворе уже лето, и осень уже незаметно

по-лисьи подкрадывается

к тополиным аллеям и зеленым газонам.

Блеском волчьих глаз серебрятся ночные созвездья.

Черная кошка перебегает дорогу, ведущую к храму.

И собака не лает, и караван не идет.
Петушатся политики, воркуют любовники,
кукуют курортники, твякают сплетники,
кудахчат бабки на рынке,
змеятся дороги земные –
жизнь продолжается.

СИРЕНЕВАЯ СИРЕНАДА

О сиренада,
нет, не серенада,
над серыми разливами асфальта
опять цветет июньская сирень.
От зноя ветке шевельнуться лень.

Порой по руслу каменного града
сирены «скорой», словно звуки ада,
несутся, в дрожь бросая летний день.
Беретка солнца лезет набекрень.

О сиренада!
А ты стоишь у старого горсада,
твой милый щебет – эхо эльдорадо.

И вновь вечерняя ложится тень.
Уходит солнце в горы, как олень.
И жизнь, поскольку раз дана, – отрада.
О сиренада!

МОНОРИМ

Себя он прогнозировал,
не идеализировал,
лакеев игнорировал,
на юмор реагировал,
к глупцам не апеллировал,
в избытке фантазировал,
в эстетках фигурировал,
но ближних не шокировал.
Лишь грому аплодировал,
свой дар не афишировал,
с эпохой дискутировал,
а женщин дегустировал.

ВЕЛОСИПЕДУ*(сонет)*

Вновь мой конек меня везет.
Как стремяна, его педали.
Шоссе. Проселок. Поворот
в лесные загородные дали.

Мой велик выбирает путь
туда, где ближе неба просинь,
где можно просто отдохнуть
в тени высоких стройных сосен.

Там, где в обнимку с тенью свет
струится нежно с перевала,
лежу, довольный и усталый.

И дремлет мой велосипед.
И чуть подрагивают спицы,
как струны, в такт напеву птицы.

ГРОЗА В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Все шло своим обычным чередом.
Траву полола мать на грядке.
В тени кустов за старым парником
играли дети в прятки.
Водой речной манило лето.
А у соседа
гремел вовсю телеэкран:
страстей футбольных ураган
над Мексикой носился дальней –
игрался матч четвертьфинальный
меж Францией и пылкою Бразилией.
Но гул всемирного чемпионата
не нарушал простой идиллии,
царившей здесь, средь сада.

Цвет набирали яблоки и сливы,
сверкали синевою небеса.

И вдруг откуда-то неторопливо
возникли тучи, и гроза
раскинула свинцовые крыла
над каждым деревом и домом
и все пространство потрясла
внезапным громом.

Земля как будто застонала.
Дождь превращался в водопад.
Как трубный глас космического шквала
катился громовой раскат.

И телевизор замер у соседа.
Что значили победные голы
перед неудержимой этой
стихией влаги и небесной мглы.

И в свете молнии, клинком огромным
рассекшей небеса,
вдруг замерла душа в предчувствии недобром:
«А если это не гроза?
А если это?...». Жуткое виденье:
весь мир в грохочущем дыму –
открылось на мгновенье
смятенному сознанию моему.

О никогда таким зловещим
мне не казался этот мир –
а это только ливень хлещет,
а это только гром гремит.

Я вышел в сад. И всей душою
вновь осознал сквозь радостную дрожь,
как в небе проступает голубое
и семенит по теплым лужам дождь.
И продолжался день воскресный,
обычный и чудесный.

Траву полола мать на грядке.
Сосед, футбольный охлаждая пыл,
домашний квас из кружки пил.
В саду играли дети в прятки.
В окошке муха танцевала.
Струился сквозь кусты лохматый свет.

Воскресный день. Планета отдыхала –
вся под прицелом собственных ракет.

22.06.1986

* * *

Я в полночь вышел на балкон.
И распахнулся небосклон.

А город весь в огнях купался.
И мне загадкой мир казался.

В просвете облаков с небес
луна сияла в виде буквы С.

И я с ночным сливался мраком.
И тишина бывает тоже магом,

но лишь для тех, кто вышел на балкон
стряхнуть с себя тяжелый сон времен.

ПЕСЕНКА О ГОРОДЕ У-У

Когда-то правил хан Модэ –
владыка ветра и пространства.
А мой удел Улан-Удэ –
кусочек солнечного царства.

Люблю родительский подъезд
и вид на Селенгу с балкона.
И хорошо, что город есть,
где все мне близко и знакомо.

Привычно светят фонари,
и стынет танк на пьедестале.
Все также тихи пустыри,
где в детстве мы футбол гоняли.

Мой стольный град У-У
стоит на берегу
двух серебристых рек.
Я вслед волне бегу
и в сердце берегу
земных мгновений бег.

Еще мой поезд не ушел,
еще светла моя дорога.

Париж, конечно, хорошо,
но мне и здесь совсем неплохо.

И снова кличет Зауда,
а круг друзей дороже злата.
И оживает вновь звезда
в душе оседлого номада.

И заклинания перу
шепчу, как подобает скальду.
И сны мои, как кенгуру,
вприпрыжку скачут по асфальту.

Ау, мой град У-У,
стоишь ты на виду
Байкала и степей.
Я вслед векам бегу
и в сердце берегу
лик родины моей.

* * *

Я иду по щербатому льду.
Селенга от лучей золотится.
От бегущих по льду ручейков
звон серебряный тихо струится.

И не знаю, куда я бреду.
В каждой капле трепещет природа,
и под треснувшим панцирем льда
зарождается гром ледохода.

ЖРЕБИЙ

Роль такая у поэта:
он не создан для дуэта.

У него такая роль,
где он сам себе король.

Призван он исполнить соло
в этой жизни невеселой.

В этой жизни непростой,
Поразительной такой.

В полосатой жизни этой,
где есть жребий быть поэтом.

ПЕРВАЯ СЛЕЗИНКА

Я помню через годы,
как небритой щекой
в порыве нежности отцовской
прижался я неосторожно
к сладчайшей щечке
маленькой дочурки.

Ей больно сделалось.
Она заплакала.

И первая слезинка
застыла удивленно
на ресничке.

У ЧИСТОПРУДНОГО БУЛЬВАРА

Белые лебеди плавали,
не представляя, как они прекрасны.

Деревья окунали листву
в ее отражение в воде.

Небо пряталось
в рваных просветах облаков.

Рыжий трамвай пробегал,
как вечный марафонец.

Пел Высоцкий – уже бессмертный –
свои надрывные песни.

Это все называлось Чистые пруды.
В самом центре Москвы, на закате столетья.

Я пил золотистый коктейль
и хмелел не хмелея.

Я не знал, отчего
на душе становилось светлее.

Странно,
но лебеди белыеплыли ко мне, как в легенде.

Странно,
но муза моя возвращалась в лебяжьей одежде.

Странно,
но мир оставался таким же прекрасным, как прежде.

1982

* * *

Когда деревья без листвы,
они громадней кажутся и выше,
и ветви их плывут из синевы,
стекающей с небес по крыше.

Кривоколенный переулок
не знает сам, куда ведет меня.
А создан мир не для прогулок,
но я иду, и не хватает дня.

И хорошо, что тишина
к себе прислушиваться учит.
И чувствую сквозь времена,
как здесь бродил когда-то Тютчев.

* * *

Уж полночь близится,
и близится рассвет.
И Германа все нет и нет.
А комната – ночной кабриолет
с вуалью дыма легких сигарет.

А правит балом леди экстра-класса,
соседка Э., тигрица преферанса,
и своего не упускает шанса.

Уж полночь близится, и близится час пик.
А время загоняет нас в тупик.
И правит королями дама пик.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФАНТАЗИЯ

Грянули холода, разошелся февраль, навалило снегу.
Крыши ощерились сосульками,
наполненными морозным свинцом.
Предупреждают прохожих об угрозе, нависшей сверху
и нацеленной на каждого, кто входит в дом.

Действительно, ходить под сосульками рискованно, даже опасно.
Я же брожу вдоль каналов,
по Невскому проспекту и вдоль Невы.
Я вбираю в себя рукотворное чудо городского пространства,
узник своей свободы
и поклонник запрятанной в тучах синевы.

Из метро выбегая,
скольжу по Исаакию умиротворенным взглядом.
У памятника отрешенному Гоголю замедляю шаг.
Почему-то зимой так хочется прогуляться Летним садом
и оглянуться
на трепещущий над Петропавловской крепостью флаг.

Я позабыл про сосульки,
что свисали брадой ассирийского старца
вдоль тяжелых карнизов, глядящих на мир свысока.
И меня догнала,
словно хрустальная сабля из бореева царства,
искристо-белая молния, рассекающая закопченные облака.

И ударом прошлась вскользь по моим азиатским скулам
и оставила клубящейся белой поземкою след.

И ответил мне город
ледовым, дробящимся на осколки, гулом,
и блестел от восторга
в бывших царских дворцах паркет.

SOS! – откликались петергофские парки и высь комаровских
сосен,
сон наяву сотрясал мою хрупкую человеческую струну.
Каждая сосулька ввысь взмывала чайкой,
устремленной в просинь,
и высекала над эйфелевыми башнями электроопор
серебряную мою строку.

И с поэтом – в африканской тигровой шкуре, накинутаой
небрежно
на акмеистский сюртук,
сквозь звоны лютни и вороний грай
уносил меня по планете моей,
священной и многогрешной,
заблудившийся в вечности, словно пьяный корабль, трамвай.

ЧЕРЕП САРМАТА

Полгода археолог Толя тер виски:
своей природной лени вопреки,
писал статью с мучительной любовью
к древнейшим поселенцам Приазовья.

Теперь о черепе сармата.
Он на столе глазницами зиял
и, кажется, заметно вдохновлял
на труд упорный аспиранта.

И вот настал желанный час.
Глазами близорукими лучась,
в знак окончания статьи
на череп Толя водрузил очки.

И – ожил вдруг сармат:
халат парчовый, львиный взгляд.
И загремел: «Живой,
так, значит, можешь.
Зачем покой
кочевника тревожишь?

Я был царем, имел сто жен,
брал гордых эллинов в полон,
а кто ты есть, презренный,
чтоб властелина лик священный,
навек преданный земле,
держат на письменном столе.

Да будет проклята лопата,
что извлекла меня обратно!
И чем я, боги, заслужил,
чтоб беззащитный череп мой
на обозрение смертным выставляли?!».

И грозной бородой
тряхнул сармат,
что даже стекла задрожали.
И побледнел, за грудь схватившись, аспирант.

Да, жертвы требуют открытья.
На шум сбежалось общежитье.
Врач вывел заключение:
«Покой больному. Переутомление».

1979

КАЖЕТСЯ, Я УСТАЛ ОТ СТИХОВ

Кажется, я устал от стихов
Как от рифмованных, так и свободных,
Верлиброванных и прочих.
Версификаторы ныне не очень в почете.
Тем не менее, как и в прежние времена,
Тема самовыражения остается актуальной.

Вчера на презентации новых авторов журнала «Байкал»
в Центральной городской библиотеке,
странно как-то заикаясь,
свои читала стихи
совсем юная особа,
можно сказать, еще девочка,
только что скинувшая школьную форму,
но успевшая уже сделать
первый глоток
из кубка Иппокрены.

Ах, да, действительно,
как-то странно она заикалась,
словно Пегас ее нес
по неровной дороге,
отдававшей
в ритмической вибрации стиха.

Добродушный Б.А., редактор журнала,
радуясь чистосердечно,
что наконец-то
затеplилась по-настоящему юная звездочка
на тусклом небосклоне
современной бурятской поэзии,
с плохо скрываемым умилением
заглядывал ей в глаза,
словно любимой дочурке,
и деликатно задавал вопросы,
как бы подбадривая ее.

А девочка, отвечая на вопросы,
делала паузы
в поисках нужных отполированных слов.
А может, это и лучше.
Ведь всегда бывает грустно,
когда поэты говорят хорошо,
а пишут плохо.

А должно быть как раз наоборот.
Косноязычие –
это своего рода намек
на божеский дар,
восполняемый в стихах.

А мама поэтессы
говорила редактору журнала,
что не одобряет пристрастия дочки к стихам.
А он объяснял маме,

что девочка напечаталась в «Знамени»,
а это большая удача для поэтов из провинции,
редко кому удается,
тем более в таком юном возрасте.

Да, а девочка все-таки славная.
Дай бог ей хорошего мужа и деток хороших,
как мама того хочет – ведь все-таки мама.
Каждому это понятно.

Авось, Пегас обойдется.
А впрочем, кто его знает.

СТРИЖ

Высоко-высоко
над будничными улицами
одинокий стриж
стремительно выводит
замысловатую
волнистую линию,
тающую в просини облаков.

Словно
Тэнгри
оставляет автограф
в небесной лазури.

АВТОГРАФ НА ПЕСКЕ

Октябрьским вечером я брел вдоль берега Финского залива. Только что небо стряхнуло со своего развевающегося плаща последние капли дождя.

На побережье ни души. Облака прилегли в ожидании ночи над чертой горизонта.

Солнце уже почти закатилось за море, и закат тлел угольками отгорающего костра.

Волны, темно-синие с вороным отливом, мерно набегали на берег.

Напротив, через залив, чуть слева, Кронштадт сиял жемчугами огней, ровными, в один ряд, словно нанизанными на офицерскую шпагу.

На востоке уже сверкала яркая Венера.

Я написал свое имя на песке, волны не доходили до начертанных букв.

И когда я уже было собрался уходить, оглянувшись, увидел, что неожиданно длинная волна слизала мой автограф на песке.

Не так ли и волны Леты уносят письма в небытие. Кого в одночасье, кого через столетия. Никто не свободен от забвенья.

Октябрьским вечером я бродил вдоль Финского залива, и мне удивительно легко дышалось эти полчаса...

ИЗ ПЕРЕДЕЛКИНСКОЙ ТЕТРАДИ

На Киевском вокзале

На Киевском вокзале будничное столпотворение.
В этой вавилонской суете не до стихов,
и какое тут может быть вдохновение
в окружении мини-маркетов и ларьков.

В метро предупреждают об угрозе теракта,
мол, не следует оставлять без присмотра вещей.
В случае обнаружения таковых немедленно, ей-ей,
следует сообщать представителям органов правопорядка.

Толкуются женщины с охапками цветов,
предлагают на выбор хризантемы, лилии, розы.
Но даже при виде их разве могут рождаться строфы,
если сам ты спешишь, гонимый стрелкой часов.

А рядом пускает из трубки продавщица
мыльные радужные пузыри, зазывая детей.
И кружится в бешеном колесе своих буден столица,
изнемогая в прокаленной июльской жарой суете.

Слава богу, есть Переделкино, что еще мне, кочевнику, надо.
Сажусь в электричку за двадцать девять каких-то рублей.
И под песнь вагонных колес – чем не отрада –
я вырываюсь под сень переделкинских тихих аллей.

Данте читаю

1

В Переделкино
В год Желтой Мыши,
В месяц зеленых деревьев,
В час отдохновенья
Данте читаю.

2

Вслед за Вергилием –
Всеведущим проводником –
Поэты древности бредут
По первому кругу Ада,
Почести воздавая Гомеру.

3

Долго беседуют
Доблестные тени между собой,
Четки времен перебирая.
Черноокий Харон
Челн свой ведет по ту сторону мрака.

4

По Данте, не так уж плохо
Поэтам живется в аду.
Однажды приходит черед и живым,
От суеты отрешаясь,
О вечности задуматься.

5

Кажется,
Камнем сизифовым
Катится время вспять.
Дали и выси смыкаются.
Данте читаю.

По коридору брожу

По коридору брожу,
Никого, ни души.

По стенам развешаны фотопортреты писателей минувшей эпохи. Рядом с дверью моей комнаты блистает хрущевской лысиной портрет 1962 года – Грибачев Николай Матвеевич, при галстук в горошину, Герой Социалистического Труда. Пузиков Александр Иванович, при галстук, глаза слегка на выкате, фото 1971 года, критик, литературовед, лауреат Государственной премии СССР, главный редактор 200-томного издания «Библиотеки Всемирной литературы». Александр Альфредович Бек (без наград) и поэт Виктор Кочетков, фронтовик (с якутскими наградами). Напротив Сергей Наровчатов, Герой Социалистического Труда, при галстук, молодой, на фоне библиотеки. Амосов из Киева, академик, Герой Социалистического Труда, популярный писатель в 80-х годах... Запомнился Валентин Дм. Берестов, единственный, кто без галстука, в шляпе, с добродушно довольной улыбкой-полуухмылкой, детский поэт, лауреат международной премии им. Андерсена, в распахнутом пальто на фоне деревьев...

Целая галерея канувших в Лету небожителей от литературы, ангажированных и обласканных скоротечным временем. Кто их помнит?

Лишь поет, в фойе,
развалившись небрежно на диване,

рыжая поэтесса по имени Дина-комета,
засветившаяся на небосклоне
постмодернистской поэзии.

А на балконе
сидит одиноко
грузинский поэт,
переделкинский узник, как в шутку его называют.
Мне цитирует строчки из классики,
воскликая «Дуэнде»,
и указательным пальцем тычет в небо.

Тишина

Тишина.

Даже слышно,
как заряжается мобильник,
как вздыхает мой походный рюкзак
в углу приоткрытого шкафа
в предчувствии дальней дороги.

Брожу по аллее.

Кроны высоких деревьев –
словно зеленые облака,
плывущие в бреющем полете
по-над землей.

По асфальту ползет
одинокая улитка,
тыча усиками в пространство.

Яблоко

Подобрал четыре зеленых яблока, разбежавшихся по зарослям пожелтевшей слегка травы. Одно, большое, принес Марине К., дежурной в Доме творчества писателей. Она хотела было отказаться от моего подарочка, но взяла его и стремительно вонзилась зубами в яблоко, начала откусывать его с энергией травоядного зверя. Зубы ее белые, обнажаясь, так и вгрызались в плоть яблока. Казалось, она забыла про меня.

Видя улыбку мою на лице, пояснила: «Все это с детства моего украинского. В школе, когда возвращались с уроков, шли мимо яблонь, подбирали яблоки, забивали ими ранцы и ели их на ходу, вгрызаясь в них так, что брызги летели в разные стороны. И на уроках ели, брызги яблочного сока покрывали парты».

Марина красивая, переделкинская пэри, возраст ее не берет, в нее влюблялись, по ее словам, все поколения переделкинских писателей, даже Расул Гамзатов не раз заглядывался на нее, забывая свою прекрасную Патиму.

А может, она была той Евой, которая так же вонзалась зубами в яблоко в эдемском саду?

Жара

Над Переделкином небо наполнено авиалайнеров внуковских
гулом.

Шум поездов и машин, пролетающих по автостраде, не утихает.
Надо бы душа небесного, ну хотя бы на три с половиной
минуты.

Шутка ли, чувствовать, что оказался как будто в жаровне.

Певчие птицы молчат, и вороны попрятались в глуби деревьев.
Дина, кометой сверкавшая, ходит печально, и ей от жары не до
песен.

Петя, мой кореш, читает «Байкал» и находит в том утешенье.
Тина зеленоволосая прячется в мутной речушке по имени
Сетунь.

Пекло, настоящее пекло, не спасают густые переделкинские
рощи.

Тихо рычит, словно пес в конуре, гром в небесах, да носа не
кажет.

Кукушка

Проснулся
Под пение птиц.
Прохлада деревьев
С утренним светом
Струилась в раскрытое окно.

Почему-то пишется хорошо
Под мелодичное кукование кукушки.

Печатаю, а кукушка кукует и кукует,
Печально немного и нежно кукует,
Исподволь заглушаемая ревом самолетов внуковских
И гулом поездов проходящих,
кукует себе и кукует...

Сколько же лет она наворожила
Стихам моим?

Клубятся в небе облака.
Кружатся ветки деревьев.
Строчки сами на бумагу ложатся,
Словно слетают с неба.

А кукушка кукует себе, кукует...

* * *

Тебя мир создал как поэму
из лунно-солнечных соцветий.
Давно в душе лелею хризантему,
но лепестки ее срывает ветер.

Ушли ромео и меджнуны.
Любви порывы своенравны.
И посвятивший Афродите руны
в ночи свои зализывает раны.

А жизнь как череда мгновений
уходит, чтоб не повториться.
И остаются в сердце сновиденья.
И женщина единственная снится.

СЭЛЬБИ

Окно в квартире городской
мне дарит свет лазури,
и образ юрты золотой
вновь брезжит в абажуре.

И стоит мне закрыть глаза,
сквозь этажи стальные
мне в душу светят небеса
бездонные степные.

И есть простор любви
под сенью лиственниц осенних –
он с нежным именем Сэльби
звучит в моих мгновеньях.

Да, есть простор любви,
где свет струился из полыни,
чтоб с нежным именем Сэльби
во сне явился лик богини.

И вновь сближает нас с тобой
воскресший свет лазури,
и образ юрты золотой
мне брезжит в абажуре.

* * *

Под сенью утренних ветвей
пройдусь опять на ближний берег,
где нежной женщины моей
хранит дыханье тихий скверик.

Срывается древесный лист,
кружится и не хочет падать.
Мой милый город, оглянись,
возьми мой стих себе на память.

Эклибрис хрупкой тишины,
листа парящего виньетка.
И до неизвестной весны
слегка подрагивает ветка.

ТЕТ-А-ТЕТ

В тихом кафе как-то встретились двое.
Сели за столик свободный, ближе к окну.
Заказали «Каберне» и салат
и поневоле
разговорились о жизни,
слушая музыку и тишину.

Тихо плескалось вино в серебристо-прозрачном бокале.
Жаль, не абсент,
как в парижских ночных кабаре.
Жаль, что не пахнет мечтою, сиреновой далью
это приятное в общем-то вино «Каберне».

Легкий глоток,
и немного тоски и печали,
словно на берег волна, набежала легкая грусть.
Кажется, больше они почему-то молчали,
словно давил их минувшего времени груз.

Она

Да, – чуть вздохнула, плечами пожав, благородная дама. –
Всякое было. Слава богу, прошло.
Грешной была. И глупа.
Не скажу, что развратна.
Просто мне нравилось, думала, так хорошо.

А теперь я хожу в христианскую церковь, не в православие.
С богом беседую наедине.

Тихо молюсь о покое и здравии,
этим довольствуюсь,
что посылает Всевышний мне.

Он

Неужто эта женщина,
которая огнем пылала
в объятиях моих когда-то и мне сердце жгла,
теперь возводит очи к богу,
но по-прежнему мила,
а может быть, лукавит, что ей вроде не пристало.

И я гляжу и незаметно сам хмелею,
не от вина, скорее, от общенья с ней.
Конечно, не могу сказать, да и не смею
напоминать излишне
о страстях минувших дней.

И есть ли у души владыка истинный –
плоть в женщине всего сильнее говорит.
Когда клянется женщина:
«Ты мой единственный!»,
не верь ее словам, а бог всегда простит.

Она

А знаешь, где-то есть страна Париж
и Пикассо,
и женщина печальная с абсентом.
Она похожа на меня, ты говоришь,
и улыбаешься при этом.

А мне сравненье льстит,
хотя оно греховно.
Художник, он от бога иль от сатаны?
Блажен лишь тот, чье сердце бьется ровно,
не ведая, что мы страдать обречены.

И как-то оба разом замолчали,
потягивая
понемножечку вино.
И дымка легкая печали
струилась сквозь осеннее окно.

И есть в молчанье долгом
поневоле
какая-то связующая нить.
И это чувствуют лишь двое,
которым есть о чем поговорить.

А он молчал и любовался ей тайком.
Минувшее ему казалось сном.
Она же тихо повторяла: «Боже мой».
И хороша была собой.

И говорила что-то о Моне,
хотя ее всегда манил Мане.
И признавалась, что во сне
он снится ей в каштановом кашне.
Но совершить в Париж турне –
увы – от свойств зависит портмоне.

* * *

Жизнь так похожа порой на вокзал.
Поезд ушел, а ты опоздал.

Хочешь помчаться вдогонку, но поздно.
Жизнь оттолкнет тебя мудро и грозно.

И, удержавшись в пространстве бурливом,
в очередь встанешь за хлебом и пивом.

И оглянешься с тоской навсегда
на уходящие вдаль поезда.

ОЖИДАНИЕ

В ожидании весь превращаешься в слух,
слышишь, как подъезжает такси,
слышишь чьи-то в подъезде шаги
и клаксона пронзительный звук.

Слышишь, как матерится сосед,
как обычно, под полночь хмельной,
и стихает, как пьяного бред,
телевизора шум за стеной.

А когда от безмолвия дома
разольется по сердцу тоска,
потрясут тишину, как два грома,
два коротких условных звонка...

МУЗА В ЗАБЕГАЛОВКЕ

В. Липатову

Под созвездием Девы родился поэт,
фаворит Афродиты, служитель пера.
И казалось, прошло уже тысячу лет,
хотя с ним мы встречались как будто вчера.

Да, мы с ним в забегаловке полупустой
воздавали лукавому Бахусу дань,
и душа, не смиряясь с земной суетой,
уносилась, как прежде, в прекрасную даль.

И неважно, что нам незнаком мускатель*,
и не кубок богов мы держали в руках,
но зато ведь над нами кружилась метель
из листвы золотой на осенних ветвях.

И мой друг, охмелевший от третьей слегка,
утверждал с затаенной в душе правотой,
что лишь в лирике жаром пылает строка
и поэт проверяется этой строкой.

И оживших сонетов сплетался венок,
и в стаканах граненых плескалось вино,
и ходил между нами тоскующий Блок,
и бродил в отдаленье печальный Ли Бо.

* Мускатель – виноградное вино с мускусным запахом (франц.).

Мы читали стихи, будто в звездный свой час,
вспоминая предтечей и веря в свое.
И с улыбкой буфетчица слушала нас,
будто муза, принявшая облик ее.

Словно ведала женщина, кто она есть,
что возносит ее только тот, кто влюблен,
и что с давних времен оказал эту честь
лишь поэтам не кто-нибудь – сам Аполлон.

Под созвездием Девы родился поэт,
фаворит Афродиты, служитель пера.
Неужели прошло уже двадцать пять лет,
хотя с ним мы расстались как будто вчера.

* * *

Сентябрь. Сизый иней. Увяданье
цветов слегка печалит небосвод.
Как женщина вынашивает плод,
так в сердце зреет музыка прощанья.
Прощания? А может быть, прощенья
у прежних чувств и трепета души,
когда любви и нежности мгновенья
над нами воздвигали миражи...

И замкнулся круг, светло и безнадежно,
и вернуться к прежним чувствам невозможно.
Лепестки высоких слов – увы – увяли.
Оживет ли лотос в городской пыли?
Лебеди над нами в небесах летали,
но уже давно растаяли вдали.

БИБЛИОТЕКА

1

– О женщина, ты книга между книг, –
сказал когда-то Брюсов знаменитый.
На память мне приходит этот стих,
казалось бы, уже давно забытый.

Он, видно, прав – поэт и книгочей.
Задумавшись о вечности и миге,
я говорю и женщине, и книге,
как в старину: «О свет моих очей!».

Пусть правит суетою сатана,
есть уголок, единственный от века,
где в человеке пробуждает Человека
пронизанная светом тишина.

И здесь, у книг, пристанище мое.
И я, питомец муз и друг элегий,
вновь признаюсь в любви библиотеке,
как женщине и храму в честь нее.

5.11.1993

2

Опять вхожу в читальный светлый зал,
где с давних лет мне все как есть знакомо.
Здесь в книжном море, вечном, как Байкал,
я чувствую себя всегда как дома.

Из всех сокровищ разных на земле
нет для души родней, дороже книги.
Восток и Запад сходятся во мне,
и мир являет образ многоликий.

И потому, как вечности залог,
в стальных тисках компьютерного века
пребудь звездой на гребнях всех эпох,
Ее величество – Библиотека.

2007

* * *

Цейтнот, мой друг, цейтнот.
Судьбу решает точный ход.

Флажок дрожит на циферблате.
Каисса машет мне в азарте
под шум деревьев на асфальте,
но мне милее Сарасвати –
богиня нежности и страсти.

И в честь нее из гроз и снов
сплетаю я венок стихов.

* * *

Ты лепечешь сплетни городские,
думая, что слушаю тебя.
А меня уже несут ветра степные
по крутым просторам бытия.

И твоя улыбочка порхает,
осеняя твой словесный вздор.
Я ж веду с суровым Субудаем
вот уже какой по счету разговор.

И зачем все эти пересуды,
будничные всплески суеты,
если я давно в тени у Будды
навожу незримые мосты.

И зачем в твоих глазах раскосых
загорается призывный блеск,
я не тот, кто есть, я из прохожих,
заглянувший к вам в пути с небес.

ЛЮБОВЬ И ПОДСНЕЖНИК

Она

1

Она была собою недурна –
в ней красота земная воплотилась.
Как будто обернулись времена,
чтоб сказочная дева в мир явилась.
Как пятнадцатидневная луна,
ее лицо задумчиво светилось;
и очаровывало вся и всех,
когда звенел ее волшебный смех.

2

И с городским поклонником при встрече
она преображалась всякий раз,
и наполнялся летний тихий вечер
мерцанием ее зеленых глаз.
И длился миг, казался миг тот вечен
при свете звезд, сверкавших, как топаз.
А почему она порой вздыхала,
знать слишком любопытным не пристало.

3

Ах да, она еще любила петь,
блеснуть любила звездочкой в застолье,

И было любо на нее смотреть,
когда она давала чувствам волю.
И словно вся распахивалась степь
навстречу поднебесному раздолью
и звукам долгой песни, что лилась
из сердца женщины в полночный час.

И вновь весна

1

Как быстро-быстро время пролетело.
Казалось, лишь вчера был встречи миг,
когда земной порыв души и тела
сближал в блаженстве сладостном двоих.
И вновь весною пахнет, то и дело
несется пенье птиц с ветвей нагих
в предчувствии листвы, тепла и света,
и молодеет на глазах планета.

2

Она идет, откинув легонькую шаль,
а под ногами в такт сердцебиенью
последних льдышек чуть звенит хрусталь,
и брызги разлетаются мгновений
не по ее ль желанью вширь и вдаль
навстречу светлой магии весенней.
Она обнять готова шар земной,
любви расправив крылья над собой.

3

И ведал он, что в мире существует
миров людских таинственная связь:
поэт слагает стих, ведун колдует,
чтоб нить времен земных не пресеклась.
И вдруг он слышит, то ли сердцем чует
какой-то тайный знак в полночный час:
нежданные серебряные льдышки
стучат ему в окно, слетая с крыши.

И снова будни

1

И снова будни – день летит как час,
бегут, как в круге замкнутом, недели.
И белкой в колесе забот крутясь,
он, суетой плененный в самом деле,
под зов весны призывный всякий раз
услышать жаждет легкий звон капли
и вырваться мечтает на простор
и мчаться, как гуран, по склону гор.

2

И он слегка грустит: она не пишет,
молчит, наверно, очень занята.
А город вешними лучами вышит
от неба и до каждого куста.
А он бредет проулком, там, где дышит
сосновой хвоей скверик у моста.
И видит вдруг у самых ног подснежник –
в косынке лепестков лилово-нежных.

3

Как он расцвел здесь, первенец весны,
в стране асфальта, как могло случиться?
А свет сиреновой голубизны
сквозь лепестки в просторы дня струится,
чтоб трепетные будничные сны
озвучивали солнечные птицы,
чтоб правил в мире суетном людьми
не Кронос вечности, а миг любви.

Опять апрель

1

Опять поэта радует апрель.
Хотя зовут дела куда-то в полдень,
вновь в руки нежно просится свирель,
чтоб о себе, тоскующем, напомнить.
Конечно, он отнюдь не менестрель,
но песнь свою готов весной наполнить,
пока звенит апрельская капель
и ждет любви возвышенную повесть.

2

И он слегка грустит: ну что ж, поэтам
нужна печали светлой благодать,
и лиру затаенную при этом
в душе лелеять, глядя ввысь и вдаль.
И со степным цветком и звездным светом
ему дружить положено, видать,
и воздавать закатам и рассветам
в стихах своих лирическую дань.

3

А где она: она, увы, не с ним.
Не может быть, а что случилось с нею?
А все так просто: с молодцем другим
ее связали узы Гименея.
Иссяк любви недолгой тихий гимн,
бегут в потоке будничном недели.
И лишь подснежник, тишиной храним,
грустит с поэтом в глубине аллеи.

2012

СЮИТА ИНЬ-ЯН

I

1

Май месяц, какой неожиданно хмурый и холодный.

Мантра тепла застывает на кончиках только что

проклюнувшейся листвы.

Может, маленечко выпить?

Монстра опять разбудить, что во мне успокоился вроде.

Лучше прижаться друг к другу как можно теснее.

Лучик телеэкрана зовет с караваном верблюжьим в Сахару.

Соль, словно камень, твердеет во вьюках.

Соло безумного солнца и плавная музыка желтых барханов.

– Дождь, – говорит мне она, – только что пробежал по бульвару.

Долго так ждали дождя, как пришел – не заметили даже.

2

Осень моя

Отдается порыву весеннего ветра.

Озером чувствую, полною чашей блаженства и неги.

От тебя, милый мой, наполняется озера чаша.

О, драгоценный источник любви и блаженства.

Облаком белым плыву...

3

Истина где притаилась: в полночных беседах с летящей кометой,
Или в объятиях женщины, или в качанье травинки осенней.

Радость смешалась с печалью, это извечно – так было и есть
и пребудет.

Радуги свет или грома рычанье, или кашель простывшей
старушки –

Раз навсегда отдаваться мгновенью как проблеску вечности
зыбкой.

Разве не в этом божественный знак ощущения, что жизнь –
это чудо.

И за меня промычит благодарно на обочине мокрой корова,
Иссиня темною ночью рогами звезды в небесах высекая.
Вечности запах вдохнет в себя смертный под веткой кедровой,
Веером тихих дождинок лицо освежая в пути многолетнем.

Ласточка мне обещает, надеюсь, еще не одну с золотистым
оттенком весну.

Ласку мгновений и нежность любви прекрасной из женщин.

II

1

Нечего вешать лапшу мне

На уши. Каждая женщина тайну имеет свою.

Надо об этом просто сказать, как снимаешь сережки с ушей

На ночь, чтобы ложе свое одинокое с грустью своей разделить.

– На фиг, – скажу сам себе.
– Настежь распахивать душу свою
Не собираюсь.
Нехотя вышел
На остановке последней, почти у подножья
Неба, растущего соснами в придорожном лесу.
Нектароносы играли друг с дружкой в прятки в зеленой траве,
Над шелковистой лужайкой пчелы кружились и разлетались
На все четыре стороны света, восходящие из лона цветка...

2

– Ишь ты какой, принц мой и дервиш,
Искренне можешь признаться, ты за кого меня держишь.
Больно ты прыток в любви и желаньях, влекомых сансарой.
Бог или дьявол тебя ниспослал со степною кифарой?

– Что мне ответить тебе, моя несравненная пери?
Чтоб небесам угодить, мы застольные арии пели,
И купидон свой натягивал лук на ночном небосклоне,
Инь отзывалась стрелой в твоём сладостном лоне...

3

Так случается в жизни, что мифы опять тебе дышат в затылок,
Тайной любви освящаются самые нежные строки поэта.

Итак,
Инь-ян.

Иштар, о богиня, сама Гильгамешу в любви объяснилась.
И вздрогнул герой,
И разъяренный бык ее мести сметал города.
Инь-ян.

Итака синела вдали, Пенелопа ждала своего Одиссея.
И сладостный голос сирен убаюкивал путников дальних.
Икар поднимался до самого солнца.
Инь-ян.

Итак, начинается песня ...
Инь-ян.

Сетью встреч и разлук скреплены все пути к Афродите.
Селезень плывет в небесах, думая, что он свободен,
Уточка же ждет его: ян бесконечен, пока инь благосклонна.
У любимой кошачьи глаза наливаются блеском в преддверии
ночи.

Утлая лодка будничной прозы превращается в легкокрылую яхту,
Ультрамариновой зыбью мгновений летящую в даль сновидений.
Небо катит на берег земли бугристые волны тысячелетий.
Нежность и страсть возносят ладью наших встреч под знаком
инь-ян.

Море сансары шумит, и штормы сменяются штилем.
Может, не раз мы с тобою в иные столетья встречались, не
правда ль?

III

1

Август уходит, чтобы Девой в зодиаке судеб возродиться.
Аэролиты кружат в медленном танце столетий.
Авгур во мне просыпается, видя в тебе бесконечного времени
птицу.
Каждый раз ощущаю в себе тень крыла твоих сновидений.
Как угадать по полету бровей твоих исполнение тайных
желаний...

Бог мой, ну что еще мне, смертному, надо.
Больше других ничего не просил я у жизни, лишь музу лелеял
тайком.
Сенбернаром ложится у ног моих
Светлый сентябрь, ластится нежно опавшей листвою...

2

Кот даже белый не переходил нам дорогу,
Кто, как не ты, мне подстелешь соломку, если рухну с самого
Эвереста.

Ирбис с высокогорных вершин мне махнул на удачу хвостом.
Исподволь дали зовут, и носит планида меня по планете,
Иноходец мой скачет по градам и весям, европам и азиям,
И невидимый ангел хранит меня на серпантинах.

И опять возвращаюсь к тебе.
Инь-ян, а в душе –
Июнь.
Иней разлук моих тает,

Инь – от огня...
Именно ты –
Искорка, пламень и пепел –
Исповедь тайны моей.

И-и-и – ржанье несется с высот перевала.
Иноходец мне знак подает, в путь собираться велит.
Астра кочевий моих еще не увяла,
Ария ветра твой голос хранит.

Истина в том, что опять мы с тобой.
Именно ты,
Именно я.
Инь-ян...

3

Ива склоняет зеленые ветви над быстротекущею Летой.
Исповедь нежных ветвей осеняет гривастые волны.
Исиня светлая просинь сквозит меж густыми ветвями.
Инь – это вдох бесконечной любви, от земли исходящий.

Ясень вздымает могучую крону под самые звезды.
Ястреб времен обнимает крылами пространство.
Яшмовой молнии свет озаряет три бездны вселенной.
Ян – это выдох бесконечной любви, исходящий от неба.

* * *

Снится мне цветущий куст.
Выплывает женский бюст.

И лазурные богини
ходят в розовых бикини.

И с улыбкою любезной
смотрят с высоты небесной.

И открытый женский бюст
вызывает приступ чувств.

ТАНЕЦ ОСЫ НА ОКОННОМ СТЕКЛЕ

Ах, как танцует оса
на оконном стекле.
Ободки золотые сверкают
на узком брюшке.
Талия – наитончайшая, как у гейши,
а крылышки,
как миниатюрные опахала.

Ах, как танцует оса
на оконном стекле,
словно прима-балерина
подлунного мира,
сама воплощенная грация.

Устав от виртуозных па,
оса скользит на пуантах
по диагонали.
Крылышками, словно пропеллером,
тело свое наполняет взрывной энергией
и бешено вонзается жалом
в тонкое, с синим отливом стекло.
И не смиряясь с преградой,
как шаманка, в камлающем неистовом танце

приходит в исступленье
и в трансе
откидывается навзничь.

А ночью приснилось,
что оса приглашает меня
на па-де-де.

Рукою обвив
самую тонкую в мире талию,
выделяю самые невообразимые пируэты,
ведомый прима-балериной подлунного мира.
И весь переужаленный
от страстных ее поцелуев,
просыпаюсь с отчаянно восторженным воплем.

Воистину,
искусству требуются жертвы.

А все-таки
что может сравниться
с танцем осы на оконном стекле?

* * *

По будничной
городской привычке
я спросил у тебя: «Как дела?».
Ты улыбнулась глазами,
взглянула на небо,
прищурясь от яркого света,
как будто спросила у неба
совета,
как лучше ответить.
И сказала,
прислушиваясь к себе:
«Хорошо».

А потом я узнал,
что живется тебе нелегко,
муж уехал с другой,
оставив тебя с детьми.
И с трудом
сводишь концы с концами.
А иногда улыбнется
хорошая книжка
в магазине напротив,
куда ты заходишь,

оставив коляску с ребенком
на попечение
сердобольной соседке.

Вот и все,
что узнал о тебе.

С той поры
много воды утекло.
Дети твои уже, наверно, выросли,
и, мне кажется,
они должны походить на тебя.

А с тобой так ни разу не встретились.

Странно,
а я почему-то помню тебя.
Наверно, потому,
что я тоже смотрю на небо,
когда спрашивают у меня:
«Как дела?».
И, прислушавшись к себе,
я тоже отвечаю:
«Хорошо».

* * *

Синие мои степи,
Сиреневые закаты,
Сизые небосклоны,
Серебряные облака.

Травы колышутся тихие.
Тают в просторе двое.
Так мы однажды встретились,
Тайны небесной узники.

Молниями освещенный,
Молча простор распахнулся,
Безоблачные дали земли,
Безмолвные глубины неба.

Встретились две былинки,
Встречным ветрам поклонились.
Небо в ответ улыбнулось,
Нежность в душе проснулась.

Так мы с тобой не расстались,
Тайна мгновенья и вечности.
Там, где с тобой мы встречались,
Таеет с песнею в небе жаворонок.

* * *

Я иду и шелкаю кедровые орешки.
День такой хороший, видно, неспроста.
Я иду и шелкаю кедровые орешки,
словно я отсчитываю быстрые года.

Я иду и шелкаю кедровые орешки.
Мне опять сегодня восемнадцать лет.
Тополей высоких серебрятся ветки,
и с небес струится золотистый свет.

Горожанки, точно, хорошеют с каждым годом,
и от них исходит евразийский шарм.
И во мне в галантном споре с Дон Кихотом
просыпается с улыбкой Дон Жуан.

Я иду и шелкаю кедровые орешки.
А они такие вкусные, дар родной тайги.
Может, слишком был собой я занят прежде,
а сегодня явно тянет на стихи.

Я иду, и каждый миг неповторимый.
Ощушаю грусть и радость солнечного дня.
Как прекрасны женщины, что проходят мимо,
и одна как будто оглянулась на меня...

* * *

А женщина воистину прекрасна,
когда в том признается не сосед,
не муж и не любовник сладострастный,
а умудренный опытом поэт.

Да, женщина воистину прекрасна.
Она всегда любви и жизни свет.
Она цветок времен и блеск пространства,
и ей обязан истиной поэт.

* * *

Белая птица мелькнула в окне.
Или же это почудилось мне.

Все я живу ожиданием чуда,
но повторяет минуту минута.

Те же бегут вдоль вокзала вагоны.
Дымом затянуты все небосклоны.

Может быть, эти неясные дали –
тени моей затаенной печали.

Белая птица мелькнула в окне.
Бог улыбается, может, и мне.

МОРЕ САНСАРЫ КОЛЫШЕТСЯ, ПЕНИТСЯ

Море сансары колышется, пенится.
Мой пролетает стремительный век.
Понял я вдруг, что еще
Поезд мой не ушел,
Потому что я встретил тебя.

Облако нежности
Обняло осень мою.
Опадающих дней лепестки
Ожили снова в душе.

Море сансары колышется, пенится.
Мойры прядут человеческих судеб нить.
Проза будней наполнилась светом
Поздних цветов,
Потому что я встретил тебя.

Тает, сливаясь со снами,
Тайна моя и твоя –
Так наши крылья сплетаются
Там, в небесах, и здесь, на земле.

Море сансары колышется, пенится.
Может, не зря твои волосы в пальцах струятся моих.
Осень мою
Осеньет улыбка мгновений,
Оттого что я встретил тебя.

Как много значит
Капелька счастья с оттенком печали.
Кажется благословенной
Каждая встреча с тобой.

Море сансары колышется, пенится...

ТИХАЯ ПОЭЗИЯ МОЯ

Тихая поэзия моя,
родилась ты в шумное столетье,
и не я, а ты вела меня
через времена и лихолетье.

И слагались песни о степи,
от цветов рожденные и ветра –
тихие полынные стихи
с отсветом Серебряного века.

А в душе я чувствовал печать
отclubившихся тысячелетий,
и земная светлая печаль
не исток ли трепетных элегий.

И любил я женщин и вино,
как и полагается поэту,
и еще мне было суждено
вволю побродить по белу свету.

Тихая поэзия моя
путь мой освещала в этом мире,
и с протяжной песней слился я,
к кочевой прислушиваясь лире.

И куда б ни мчался мой Пегас,
знаю, есть в степи одна былинка –
не души моей ли коновязь –
вся из лунно-солнечного блика?

И она, качаясь на ветру,
над простором древнего покоя,
навевает моему перу
вечно сокровенное, родное.

И под грозный рокот бытия
не меня ль былинка осеняла?
Тихая поэзия моя –
не в былинке ли твое начало?

МОЛЧАНИЕ БУДДЫ

ОМ!

ОМ! Воистину речь и дыхание сливаются, исполняя желанья вселенной.

Яйцо раскололось на две половины, серебряная небом раскинулась, золотая – землею.

Рыжий конь из пылающей бездны возник, и следы от копыт его наполнились водами рек и морей, и грива коня разметалась облаками и тучами, полными грома – ржанья пространства и молний – сверкающих стрел бесконечности.

ОМ! Воистину речь и дыхание сливаются, песнопением космос объемля.

Речь именами одухотворяет все сущее, шелестом каждой травинки и блеском росы на цветке слагая незримые гимны мгновениям жизни.

Мантра, звучащая в тихих устах человека, связует пространство и время в едином потоке сансары.

В слове священном, тысячекратно пропетом, рождается мир, неподвластный шуньяте.

ОМ! Воистину речь и дыхание сливаются, человеческий миг наполняя божественным смыслом.

Сарасвати, светлоликая речи богиня, весеннему ветру подобно, времена и миры обнимает.

Выше неба и шире земли величье твое простирается, о Сарасвати!

Косноязычие смертных поэт восполняет в молитвах и гимнах, к тебе обращенных.

* * *

Восток загадочный и мудрый...
Какая странная отрада
читать таинственные сутры
в читальных залах Ленинграда.

И к небесам я прикасался
сквозь вечный свет тысячелетий,
и Путь срединный открывался
к завещанному мне наследью.

1967

БЕЛАЯ ТАРА

У Белой Тары
семь миндалевидных глаз –
на лице, ладонях и подошвах ног.
Семь глаз, словно семь звезд Большой Медведицы,
пронизывающих немеркнущим светом
космический хлад и мглу мироздания.

Белая Тара – света богиня,
птицам небес и людям земли
жизни во имя и песни во имя
радость и светлый покой ниспошли.

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ!

И слышится струна открывшейся вселенной,
и музыкой освящается мгновений бег.
И Белой Тары свет благословенный
струится к нам сквозь двадцать первый век.

АВТОБУС

Как вздыхает тяжело
переполненный автобус.
А в ночных прудах светло
расцветает лотос.

Грузно мчит по мостовым
переполненный автобус.
Прогибается под ним
суетный наш глобус.
Переполнен пассажир,
переполнен веком.
Переполнен грозный мир
античеловеком.

Правят миром миражи.
Миражами правит космос.
А в прудах в ночной тиши
расцветает лотос.

ОБЛАКО СВЕТЯЩЕЙСЯ ПЫЛИ

По проселочной дороге
пробегали редкие автомобили,
оставляя за собою
шлейф клубящейся пыли.

Пыль,
осеня
светящимся облаком
белые, с золотистым отливом,
султаны придорожного ковыля,
загораживающе долго
таяла в лучах
по-летнему яркого сентябрьского солнца.

Облако светящейся пыли...

Не образ ли шуныты привиделся мне?

СВЕТ ПОЛНОЛУНИЯ

В ночь полнолуния
душа исполнена
таинственного света.

А в небесах такая
серебрится тишина –
на все четыре стороны
вселенной,
обнимая дымку облаков,
купола деревьев
и каждую травинку.

И незаметно ты сливаешься
с покоем лунного простора
как бы с преддверием нирваны.

Такая ночь бывает,
наверно, раз в столетье.

В такую ночь
мир ближе к Будде.

* * *

Бодхисаттвы
нисходят с небес
и растворяются в будущем.

Истина жизни,
где она притаилась?

В аудиенции
с Тэнгри
при свете созвездий,
или в объятиях женщины,
или в круженье осенней листвы?

Божья коровка
и та меня истине учит,
сливаясь с травой.

* * *

Мне сон приснился,
что Велемира Хлебникова
избрали
председателем земного шара.
Он принял президентскую присягу,
руку положив
на лотос.

ЛЕГЕНДА О КЕНТАВРЕ

Кентавр был привычен к битвам
и утверждал свой мир копытом.

И подминая мир под конский хвост,
он на дыбы вставал до самых звезд.

Но заглянув в свое нутро,
познал, где зло и где добро.

И вспомнил в муках и печали
о человеческом начале.

И милосердный свет Востока
смягчил копыт могучий цокот.

И громовое ржанье,
с покоем слившись мироздания,

звучит как мантра
в устах кентавра.

* * *

Я был при освящении земли,
где в будущем воздвигнется хурул-дацан.
Трава росла, одна на весь окрест,
трава, да, кажется, бурьян.

И молодые ламы
читали сутры нараспев,
и я, колени преклонив,
сидел, закрыв глаза, и видел НЕБО.

Я видел, как взмывает в поднебесье,
взмахнув крылами крыш, буддийский храм,
и он казался каменной песней,
и степи ей курили фимиам.

И Будда из нирваны возвращался
к земле, ожившей в синеве,
и белый-белый лотос распускался
на солнцем выжженной траве.

И я открыл глаза,
и мне в лицо светили небеса.
В мгновении сходились времена.
И на исходе века знак сиял восхода.
Все оживет, и дух, и путь, и письмена,
лишь храм коснется выси небосвода...

1990, Элиста

* * *

Н. Гениной

На Арбате живет Натали,
в старом доме на Старом Арбате.
Ей стихи интересны мои
и легенды о Миларайбе.

Удивляюсь я сам, отчего
ей так нравится слушать об этом –
об отшельнике, ставшем поэтом
и ушедшем от мира сего.

Жил в пещере в тибетских горах
и питался порой лишь крапивой:
одиноким буддийский монах,
жизнь свою посчитавший счастливой.

И на склоне вечерних вершин,
созерцая века и мгновенья,
он обряд очищенья вершил,
золотые слагал песнопенья.

И олени сбегались к нему,
и охотник вставал на колени.
Натали, может быть, потому
ты молчишь и внимаешь легенде.

Я могу говорить до утра
и еще целый день, если надо.
Только мне закругляться пора
и в гостиницу топать с Арбата.

И библейские очи твои
все задумчивей, тише, печальней.
«Очень странная ты, Натали, –
уходя, говорю на прощанье...

И над тихой усталой Москвой
проплывает ночная прохлада.
И беседует в полночь со мной
на бульваре Тверском Миларайба.

1980

* * *

Под свет домашнего торшера
мне снится горная пещера
в холодной каменной скале.

Здесь жил неистовый отшельник,
ни злата не имел, ни денег,
но песнь вела его во мгле.

И перед каждою травинкой
склонялась узкая тропинка,
и посох оживал в золе.

Прошло почти тысячелетье,
в устах утихло песнопенье,
но эхо бродит по земле.

ПРИТЧА О КОРОВЬЕМ РОГЕ

Однажды Миларайба со своим учеником Райчунгом
шли по горной тропинке, наслаждаясь летним днем.
Небеса отливали солнечным светом латунным,
так и шли учитель с учеником вдвоем.

Видят, лежит коровий рог на дороге пыльной.
Взял его Миларайба и за пазуху положил.
Этим своим поступком без всякой на то причины
он ученика Райчунга сильно удивил.

И тот решил, что учитель впадает в детство, устал от жизни,
раз хватает какой-то в пыли залежалый рог.
А Миларайба, словно прочитав его мысли,
ответил: «Может быть, эта вещь нам пригодится, сынок».

Так и шли они безмятежно. Но вдруг поднялся ветер,
в тучи грозные превратились облака.
И разразилась с градом гроза под вечер,
и закрутились по равнине смерчи песка.

И смотрит Райчунг: «А где ж Миларайба?».
И видит: сидит он, упрятавшись в коровий рог,
и зовет ученика, чтобы сел тот рядом,
благо, что рог оказался глубок и широк.

И говорит Миларайба ученику Райчунгу:
«Сын мой, сансара подобна этой буре земной.
А нирвана подобна рогу – несравненному чуду,
в котором сейчас укрываемся мы с тобой».

И утихли как будто порывы бури и ветра,
град промчался и черные тучи исчезли вдали.
И снова свой путь продолжали два буддийских аскета
по горной тропинке, наслаждаясь простором земли.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СКЛОНЕ БОГДО-УЛЫ

Здесь, на южном склоне горы Богдо-Улы, когда-то возвышались храмы большого монастыря, названного в честь бодхисаттвы Манджушри, олицетворения вселенской мудрости.

Я прошелся по террасам, где были еще видны руины бывших храмовых строений.

Сквозь зияющие расщелины стен проглядывали кустарники и пучки жестких горных трав.

Почва осыпалась под ногами, приходилось рассчитывать каждый шаг, чтобы подняться по склону горы и пройти по тропе современных пилигримов.

Тропа тянется вдоль развалин монастыря, старая вера в Учение Будды не иссякает.

Об этом говорят следы жертвенных подношений у молитвенных деревьев и ликов божеств на камнях.

Среди них, пройдя весь горный склон, осененный скальными глыбами, и уже спускаясь в долину, я обнаружил незаметное на первый взгляд, но достаточно хорошо сохранившееся изображение Миларайбы с прислоненной к голове правой рукой – характерной для него позой.

Долго стоял, созерцая открывшийся мне образ тибетского отшельника-поэта, пока меня не окликнули, что надо возвращаться в свой двадцать первый век.

1

Вдалеке от суеты и гула,
в тишине на склоне Богдо-Улы,
с вечностью связуя миг,
проступил на камне
Миларайбы лик,
словно знак в себе таящий
блик.

2

Раньше был здесь монастырь.
А теперь смешалось все с травой.
Может быть, земная ширь
изначально тянется к покою?

И недаром сутры говорили –
жизнь не сгусток ли вселенской пыли.
А земные судьбы царств не боле
чем перекасти-поле.

3

Растет трава хиаг – пырей ползучий
там, где стоял буддийский субурган.
Но вихрь времен рассеивает тучи,
и эхо мантр хранит степной курган.

Да, каждый раз мир погружается во тьму
и вновь рождается для света.
А почему так мир устроен, почему –
не хватит жизни для ответа.

4

И веду я молчаливую беседу
с тишиной, обнявшей облака,
словно я иду по следу,
миг связующему и века.

И богов дыхание тает дымкой,
серебрящейся во мгле,
и бреду я вечным невидимкой
сквозь миры по небу и земле.

* * *

Алтарь, домашняя библиотека.
Латунный Будда над крылами книг.
И светлый взгляд земного человека,
благословляющего каждый миг.

И длится наша тихая беседа
о старине –
уже который час.
И тень поющего анахорета
бредет в веках и осеняет нас.

– А все же в чем есть тайный смысл вселенной, –
ответь, пожалуйста, Сандаг-гуай.
В луче
пылинки кружатся мгновений,
и стынет в пиалах зеленый чай.

* * *

Степь украшают каменные стелы,
а дом – сокровищ книжных стеллажи.
Дух раздвигает призрачные стены,
дух воплощает в книгу миражи.

А за окном шумит вечерний город.
Времен накатывается волна.
И сквозь столетий вавилонский гомон
звучат родные сердцу письма.

Я, странник, снова прикасаюсь к тайне.
В дорожных лужах вижу витражи.
Есть Путь и запыленный посох знаний,
ведущий к просветлению души.

ИЗ МИЛАРАЙБЫ

* * *

Я – Миларайба, славен в горном поднебесье.
Со мною – Памяти и Мудрости наследье.
Хоть я и стар, и одинок на свете,
из уст моих исходят песни.

И вся Природа – мать мироздания,
которую я постигаю в созерцанье,
преображается в великую из книг.

И твердый посох, что в руках моих,
ведет меня сквозь бездну следствий и причин.

Не полагаясь на земные божества,
я совершаю подвиги и чудеса,
я – Разума и Света властелин.

О Пяти счастьях

Припадаю к ногам моего учителя благодетельного Марбы,
благослови меня на отказ от суетных радостей сансары!

Я, тибетский йогачари Миларайба, уединившись в горах,
в пещере у Белых Скал Агта Арган встречаю каждое утро,
я ушел от людей, живущих в довольстве в теплых домах,
чтобы постичь в тишине святость Учения великого Будды.

Восседать на маленькой подстилке полинялой – счастье,
иметь из волоса и древесного пуха одеяло – счастье,
быть погруженным в собственное созерцание – счастье,
тело, не знающее голода и жажды страдания, – счастье,
душа, не подверженная сомнению и колебанию, – счастье.

Песнь о коне йогачария

Припадаю к ногам моего учителя благодетельного!
В уединенных горах, при свете заката замедленного
внутри моего тела, пребывающего в созерцании,
на острие треугольного сердца, бьющегося в ожидании,
скачет конь спокойных мыслей,
конь, подобный вихрю в пустыне.

Если ловить того коня, то каким арканом поймать?
Если спутать ноги ему, то к какой коновязи привязать?
Если проголодается конь, чем его накормить?
Если жажда у коня, какой водой ее утолить?
Если зимой продрогнет, в какой конюшне его держать?

Того коня поймает арканом истинного знания.
Тому коню подходит для привязи коновязь созерцания.
Накормить коня можно, если есть учитель Наставления.
Напоить коня можно, если есть вода Размышления.
Если зимой замерзнет, в конюшне шуньяты – его спасение.

Украсишь коня седлом и уздечкой разума и гордости,
проденешь подхвостник неизменной твердости,
и узда духа поведет коня на полной скорости.

На том великом коне сыну Мудрости ехать положено впереди,
и оденет он шлем, дающий начало мыслям Великого Пути.
И в доспехах услышанной истины, созерцания и просветления,
с привязанным за спиною щитом спокойствия и терпения,
взявши в руки острое копье мысли и понимания,
прицепив к поясу саблю проникновенного знания,
насадив острый наконечник разума на тетиву шуньяты,
натянув двойной лук магического учения тантраяны
все пространство земное насквозь прострелит.
Демонов стяжателей, злобных врагов стрела поразит
и шесть видов живых существ во всех мирах защитит.

Быстро доехав на том коне до Долины радости великой,
опустишь поводья, осененные небесных хранителей ликом,
до конца проскакав, вырвешь корень сансары без сожаления
и достигнешь состояния бодхи – высшего просветления.
Если будешь скакать на коне таком,
обретешь святость Будды в себе самом.

Песнь о разбитом котле

Был котел – а теперь его нету. В чем дело?
На куски он распался – а был мне отрадой.
Не подобно ль котлу это бренное тело,
то, которое ныне зовут Миларайбой.

Укрепляет мятущийся дух созерцанье.
Но – увы – нет котла, где варилась крапива.
Раскололся котел, словно дно мироздания,
и невечность всего сквозь куски проступила.

* * *

Грохот грома, хоть и могуч на слух,
не пустой ли это звук?

Хотя и кажутся восхитительными радуги цвета,
разве не мимолетна эта красота?

Это прекрасный мир в каждом мгновении
не подобен ли сновидению?

* * *

«Творить добро! – когда я так подумал,
явилось божество – мой покровитель –
и изрекло: «То, что сказал тебе Учитель,
да будет правилом в пути твоём подлунном».

И следуя высоким наставленьям,
я проникаюсь истинным значеньем
учения о смысле доброты.

* * *

Когда достигаю степени Будды, пришедшего к высшей правде,
это и есть спокойствие и сосредоточение, именуемое самади.

Будучи спокоен в своем убежище, живу спокойно.
Следуйте мудрости этой, чтобы спокойствие обрести.

Не умножая грехи, ведите себя достойно
и поклоняйтесь тому, кто вас наставляет в пути.

Песнь, обращенная
к девушкам-щеголихам

В стране людей Джамбудвип – срединного мира
не мудрые проповедники требуются, а лжецы.
Не хранители знаний требуются, а кумиры.
Не достойные люди требуются, а хитрецы.

В тяжелую кальпу смутных переменчивых времен
не блистательный йогачари требуется, а пустозвон.
Не истинное учение требуется, а песенка складная,
чтобы слушала ее и наслаждалась толпа нарядная.

У ПОДНОЖЬЯ МУНКУ-САРДЫКА

В сердце страны Хухэй, на озаренном утренним солнцем склоне
у подножья каменного алтаря небожителей – Мунку-Сардыка
я сижу в позе лотоса – как некий отшельник – на облачном фоне
и взираю на мир, как на поток сансары, омывающей горные
берега.

Поклоняюсь солнечному лотосу рассвета и пылающей розе
заката,
поклоняюсь тающей льдинке и солнцу, разгоняющему тьму.
Поклоняюсь тебе, досточтимый святой в ветхом рубище
Миларайба,
поклоняюсь несравненным твоим песнопениям и посоху твоему.

О, отшельник, чьей пищей была похлебка из гималайской
крапивы,
о, скиталец, живший в пещерах и обросший щетиной, как зверь,
ты, отринувший радость сансары, считал свою жизнь счастливой,
потому что приоткрылась тебе к нирване ведущая дверь.

Ты, обретший свой путь в созерцании и мистическом
вдохновенье
и прозревший до истины высшей в размышлениях о добре и зле,

ты вознесся к богам, растаял в шуньяте, но остались твои
песнопенья,
потому что они полюбились уставшей от бранных желаний
земле.

И плывут облака, словно дымка нирваны, над суетной планетой,
и задумались горы, только знают они, – о высоком и неземном.
И сансара ликует и стонет, и стихи, словно искорки тьмы и света,
пробуждаются в сердце моем, человеческом сердце моем.

ВОСТОЧНЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ

I

Идет караван к Алашани.
Пески, саксаул, солончак.
От жажды спирает дыхание,
и боль отдается в висках.

Давай отдохнем хоть немного
в тени нам приснившихся рощ.
Пусть будет короткой дорога
и долгим нечаянный дождь.

О путь от колодца к колодцу,
и ноша верблюдов тяжка,
и вслед уходящему солнцу
вздываются горы песка.

II

Глоток колодезной воды
в песках, как милостыня божья.
И снятся райские сады
в объятьях желтых бездорожья.

И снится на закате дня,
что мир стал призраком и эхом.
И всадник падает с коня,
шепнув лишь: «Ом мани бадмэ хум».

Но надо верить в тайный знак,
в путь от рассвета до рассвета
и сделать шаг, последний шаг,
чтобы припасть к снегам Тибета.

ДОЖДЬ В НОЧНОМ КУМБУМЕ

Посвящается Декьи

Аспидная ночь ниспадала с отрогов хребтов гималайских.

А на душе было тихо, светло и

Покойно

Под

струящимся

с

Н	Н	Н
---	---	---

е	е	е
---	---	---

б	о	т
---	---	---

а	ж	о
---	---	---

	и	р
--	---	---

д	д	о
---	---	---

о	а	п
---	---	---

ж	н	л
---	---	---

д	н	и
---	---	---

е	ы	в
---	---	---

м	м	ы
---	---	---

		м
--	--	---

Полунощники, семеро было нас, семеро.

По ночному брели мы Кумбуму, хранящему молчанье.

Поводырем нам служили фонари, раздвигавшие занавес мрака.

Из клубящейся бездны выплывали с парящими крышами храмы.

Исподволь мир наполнялся светящейся Пустотою.

Кто мы, пришедшие из тьмы во тьму?

Кто мы, пришедшие из света к свету?

Кто мы?

Кто мы?..

Полунощники, семеро было нас, семеро, Евразия в миниатюре.

Паломники мимолетные двадцать первого века.

Море сансары омывало тибетские храмы – как преддверье
нирваны.

Может быть, брызги дождя таили слезу просветленья.

Саша из Питера, тибетолог, дока по гимновым песнопениям,

Славящим достоинства и деяния Будды,

Прошлые его рождения до самой

Паринирваны.

Саша из Питера,

С высоты

Своего почти двухметрового роста

Обозревал

Оком внутренним

Ойкумену буддийского мира.

Шаг замедляя, прислушивался к ночной тишине, словно

Шакьямуни вновь оживал в пространстве через века.

Однажды не в такую ли ночь,

Освещенную бледной улыбкой

Полнолуния

После долгих поисков истины и испытаний Гаутама

Ушедший в отшельничество,

Уселся под развесистым деревом бодхи в позе лотоса,

Полный решимости обрести

Просветление.

Но воспротивился Гаутамову устремлению Мара – бог зла
и смерти.

Норов свой неукротимый выказал,

На Гаутаму

Наслал полчища темных духов, демонов мрака.

Напрасно! – не дрогнул отшельник, в себя погруженный.

И тогда явились в восхитительном облике дочери Мары –

Истинные воплощения сладострастия и чувственных радостей.

И от них Гаутама был защищён силой внутреннего

сосредоточения.

Не остановился Мара: он обрушил против отшельника силы

природы –

Небо разверзлось над ним, земля под ним сотрясалась,

Неистовые ветры гнули дерево бодхи и листья осыпались

под градом.

Нет,

Не дрогнул

Ни один волос

На голове

Неустрашимого Гаутамы.

Нехотя отступил от отшельника Мара, исчерпав свою власть

и чары,

Непокорную главу свою он склонил перед Победителем.

Таинство освобождения от пут бытия осенило Гаутаму.

Так явился в этот мир Будда – Просветленный.

И под сенью Оленьей Рощи озвучил Будда свою первую

проповедь.

Истины путь, освященный сиянием Дхармы, тянулся вдоль Ганга.

ОМ МУНИ МУНИ МАХАМУНИЕ СУУХА

Поклоняюсь стопам

Победоносного, который вращает колесо священного учения.

Поклоняюсь стопам

Повелителя милосердия, возбуждающего высокие намерения.

Поклоняюсь стопам

Покровителя на благородном Восьмеричном пути.

Саша, а может, ты вспомнишь, как когда-то под пышной кроной
баньяна

Слушал ты в одном из своих перерождений Будду, уставшего
от скитаний.

Кто мы, пришедшие из тьмы во тьму?

Кто мы, пришедшие из света к свету?

Кто мы?

Кто мы?..

Юлия и Анастасия, с такими пленительными именами,
Юные монголоведочки – веточки с древа познания из РГГУ,
От суеты мегаполисной
Оторваться –

Радость такая на свете есть.

Разом забыть про метро, светофоры, интернет, эсэмэски.

Разве возможно такое – как сон наяву,

Не потому ли намоленная тишина оседает в душе,

Небо дождинками напоминает о Мгновении как о

Непреходящей вечности.

Именно ночь открывает врата к просветлению.
Истины благородные не имеют границ.
Лишь в человеческом теле рожденному
Лик нирваны брезжит сквозь свет Срединного пути.

Молитвенные барабаны крутятся от прикосновения
Москвичек, проникнувшихся магией тысячелетнего обряда.
Кармой светящихся звезд наполняется ночь.
Каждый миг здесь ведет по пути накопления добродетелей.
Кажется, все повторяется в круговороте подлунного мира.
Капли дождя, сверкая жемчужинами, скатываются
по субурганам.

Кем же вы, юные девы, были в перерождениях прошлых?
Керуака бледнеет перо на фоне Лалитавистары.
В стремительном танце баядерки кружатся,
Словно дочери Мары.
Снова, в тысячный раз
Сновидения сливаются с былью и наоборот.

Вселенная внимает молчанию мудреца,
В себе превозмогшего
Время.

Авалокитешвары слезою очищается море сансары.

Анастасия, не ты ли кружилась когда-то в кругу баядерок,
Ароматом духов и звуками песни отвлекая Сиддхартху
От мыслей печальных
О бренности мира.

И снова рождалась в чреде поколений
Из пепла столетий для музыки и танцев,
Освободиться в суете забывая
От позлащенных цепей перерождений.

Юлия, не ты ли когда-то глядела вслед каравану, шедшему
к Гангу,
Юг выбирали перелетные птицы, а север – рожденные в седлах.
Вот ты опять собралась в экспедицию по гобийским степям.
Вновь помолиться нелишне бурханам, хранящим просторы
кочевников
От высокогорий Амдо до равнин холмистых Хангая.
Что тебе может еще подсказать Пьер Бурдьё,
Чью умную книжку взяла ты в дорогу?
Мир поворачивается, не зная, в какую ему сторону нужно, но
Мифу по-прежнему при инверсиях веры служат ритуалы
степные.

Отсвет времен освящает Мгновенье, которое вечностью правит.
Ом-ма-а-хум! Мангалам! Да будет так!

Кто мы, пришедшие из тьмы во тьму?
Кто мы, пришедшие из света к свету?
Кто мы?
Кто мы?..

Баатр, сменивший калмыцкие степи на проспекты под сенью
Башни Останкинской и воздающий в ученых трудах своих
Дань уважения предкам воинственным –
Доблестным ойратам, чьи молнийные сабли

Драгоценностям Трем присягнули на верность и
Дхарма Учения осенила просторы от Кукунора до Волги.
Баатр, не ты ли когда-то, почти полтысячелетья назад,
Бархатных трав Амдо утренний запах вдыхая,
Нараспев твердил сутру золотого блеска,
На монгольском наречии именуемую Алтан Гэрэл.
Баатр, разве не так это было, а теперь, в нынешнем
перерождении,
Благословляемый тенью Учителя Победоносного,
Простирая совершал на дощатом полу паперти,
Поклоны ревностно отбивая грядущему Будде – Майдари.

Также две милых калмычки – Лена с Гиляной –
Таинству ночи буддийской внимали всем сердцем.
Струйки дождя окропляли их волосы, руки и мысли.
Сутры звучали
Сквозь толщу
Столетий.

Лена, помнишь, как в агинских степях привечали тебя твои
братья буряты.
Лента голубого хадака струилась как лоскуточек Вечного Синего
неба,
Осеняющего благом каждого, кто родом из белой войлочной
юрты.
О, как это мир необъятный
Оказывается тесным,
Снова лет двадцать спустя круг сансары
Сводит нас, Лена, не где-нибудь, а под благословенной сенью
Кумбума.

Возможно, мы прежде с тобою встречались в минувших веках
В толпе пилигримов у ступ Боробудура или в горах Утайшаня.
Воистину, как говорят христиане, неисповедимы пути Господни.
Все-таки мир этот тесен, и не зря возвращаются молитвенные
барабаны.

О, Гиляна, цветок мироздания степного, чьи лепестки
распустились
От дыхания песен протяжных и гимнов буддийских.
Огненные хошуты – предки твои кочевали когда-то вокруг
Кукунора,
Отзвук времен тех далеких до сих пор отдается в родословной
калмыков.
Взор твой, Гиляна, исполнен любви и печали, когда говоришь
о хошутах.
Вот почему затаившийся пламень генов в твоих рыжих волосах
шевелится.
Вспомни, не ты ли величальной песней когда-то встречала
Воинов Гуши-хана, спускавшихся в степи с перевалов Тибета.
Возвращается все на круги своя
Во времени и пространстве.
Окон тэнгри да хранит
Ойратский дух у потомков!
Орн-нутгин сэкүсн
Окн Тенгр өршэтхэ!

Кто мы, пришедшие из тьмы во тьму?
Кто мы, пришедшие из света к свету?
Кто мы,
Кто мы?..

Раз такое, наверное, в жизни случается – ночью брести
по Гумбуму.
Растворяясь в пространстве, я слышал столетий дыхание
в храмах.
Что-то во мне замирало, с тишиной предвечной сливаясь.
Четки мерцающих дождинок перебирали мгновенья.

Крыши изогнутые храмов светясь проступали во мраке – словно
Крылья Гаруды расправив, вселенную ночь обнимала.
Лани, те, что слушали проповедь Будды, оживали на кровле
храмов.
Лалитавистара разворачивала свиток о жизни Шакьямуни,
Наполненной чудесными явлениями и легендами,
Начиная с пребывания Победоносного на небе Тушита.

Мне показалось, как, занавес туч раздвигая,
Медленно плыл на серебряном льве сам Цонкапа – хранитель
Кумбума,
Беседуя с Манджушри – владыкой Мудрости и Знаний.
Бег свой времена замедляли под сандаловым деревом, где
Тени богов махаяны осеняли святыню пространства.
Темь серебрилась от света луны, проступавшей сквозь тучи.
Мир замыкался в себе, как Миларайба в отшельнической пещере.
Миг распускаясь, как столепестковый лотос, вечностью
освященный.

Полунощники, семеро было нас, семеро, Евразия в миниатюре.
Паломники мимолетные двадцать первого века.
По ночному брели мы Кумбуму, хранящему молчанье.

Ведь сказано,
Все мы, смертные, в неизбывном и вечном родстве
В череде бесконечной жизнью минувших.
Все-таки мир этот тесен.
Воистину, не зря вращаются молитвенные барабаны.

Море сансары омывало тибетские храмы – как преддверье
нирваны.
Может быть, брызги дождя таили слезу просветленья.

ЛЕГЕНДА О КАРАТИСТЕ

1

Жил на свете мальчик Чон.
Был умен и скромн он.
Рядом жил подросток важный,
Чона он избил однажды.
Как же Чону дальше быть,
как соседу отомстить.

2

Чон узнал, что есть в горах
мастер боя – дзэн монах.
И поведал он сэнсэю,
что душа стремится к мщенью,
что доверился мечте –
научиться карате.

3

И сказал ему сэнсэй:
«Сделал выбор, не жалей.
Кто в учении неистов,
будет славным каратистом.
И где истина, где ложь –
станешь мастером, поймешь».

4

Стал бойцом искусным Чон.
И ему приснился сон,
что он птицей в небе вьется

и в когтях сжимает солнце.

И тогда сэнсэй сказал:

«Это ки – небесный знак».

5

Мастер Чон во славе лет
вспомнил: «Где же мой сосед –
недруг тот, подросток важный,
что меня избил однажды».

И пришел домой к нему
по желанию своему.

6

Но при виде Чона вдруг
недруг тот пришел в испуг.
Весь дрожа, встал на колени,
выражая сожаленье,
умолял его простить,
жизнь, коль можно, сохранить.

7

Поднял Чон его. Пред ним
сам колени преклонил.
И сказал: «Тебе спасибо,
указал ты путь мне, ибо
карате бы не познал
и самим собой не стал».

* * *

Я кинул в омут
собственного тела
камень
по названию карате,
и на волнах,
поднявшихся из недр
телесной оболочки,
воспрянул с новой силой
дух.

* * *

Лианами желаний
опутан
человек
с рожденья
до смертного одра.

И только
Будда
слышит
свое
молчанье.

* * *

Караван одинокий прошел по равнине
и исчез незаметно в вечерней дали.
Не окликнешь его, ибо голос в пустыне
обречен на безмолвье небес и земли.

И кочевник степной, оседлавший верблюда,
знал, что шепчет в пути ему вечный простор.
Жизнь его, полагал он, всего лишь минута
на космическом фоне созвездий и гор.

И он знал, как людские изменчивы судьбы
и как мир поглощает забвенья туман.
И века, утверждают старинные сутры,
как песчинки в реке по названию Ганг.

Этот призрачный дар, называемый жизнью,
не мираж ли, рожденный шуньятой самой.
Уходил человек с этой горестной мыслью,
возрождаясь опять в круговерти земной.

Почему же тогда в этой жизни поется
и смешался с печалью вселенскою свет?
Этот вечный вопрос человеком зовется.
И в молчании Будды таится ответ.

ШЕСТОЕ ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Сегодня шестое июля, воскресенье. День рождения его Святейшества Четырнадцатого Далай-ламы – день, от которого, по мнению приверженцев тибетского буддизма, исходят лучи на весь мир, осеняя павлиньими перьями благочестия погрязший в суетных делах сансарический мир. Странно, но я, видимо, слишком еще нездоровый до истины, сокрытой в клубке разношерстных столетий, раньше считал, что буддистам не положено отмечать дни своего рождения, поскольку каждый день рождения, с одной стороны, радует человека, с другой – привязывает к сансаре, напоминая о скоротечности жизни и приближении смерти, это как палка о двух концах. Но теперь люди более просвещенные, и сами ламы читают молитвы о здравии и благополучии Далай-ламы, этим самым отдавая дань человеческим традициям и освящая нить мгновений светом четырех благородных истин. И я слышу, как уставшие от зноя июльские деревья слегка шелестят от порыва нечаянного ветерка и в шелесте листьев скользят звуки мантры «Ом мани бадмэ хум».

Сегодня шестое июля, воскресенье. Наконец-то откликнулась три месяца молчавшая Л. из Киева. Пишет довольно мажорно: «Привет, Поэт! Сто лет. Сегодня мне приснился снег. Снег среди яркого летнего дня. Проснулась, и вспомнилось Ваше «когда мне не хватает неба...». И еще одна цитата из «Азийского аллюра» («А я пою простор и высь небесной сини»). Весточка от нее обрадовала меня, ведь я не знал, что и думать. Пишу, а она молчит. Майдан сделал свое дело и вроде притих (может, это затишье перед очередной грозой), зато в Славянске грохочут снаряды, и до тишины

еще далеко, слишком далеко зашла братоубийственная война. И каково тем, кто в Киеве, в двух-трех шагах от Майдана.

Сегодня шестое июля, воскресенье. Читаю Хлебникова. Нет, не Олега Хлебникова, который известен сегодня в пределах Садового кольца, а Велемира Хлебникова, от камня которого, брошенного в бездонный омут поэзии, пошли круги, качающиеся до сих пор флотилии новоявленных поэтов, хотя никто об этом вслух не признается. Ну кто будет помнить о его однофамильце по имени Олег (я-то его знаю, когда-то посещали семинар Слуцкого, удостоились его внимания, но все-таки тяжелая ноша – быть однофамильцем Хлебникова). А вот самого Велемира музы осеняют лавровым венком первопроходца-будетлянина и сто лет спустя, уже в третьем тысячелетии.

Сегодня шестое июля, воскресенье. Целый день за компьютером. Пишу отзыв на первую книгу Г. Котуа «Между силой и слабостью» Конечно, хочется поддержать собрата по перу, пусть птица его поэзии – чайка души, взлетевшая с берегов Невы, парит над Петербургом, преодолевая суетный шум двадцать первого века. Кажется, многим нет дела до стихов, и мир живет, чтобы выжить, и герои будней – супермены удачи превратились в гонщиков, выжимающих из своих скоростных автомобилей право на лучшую трассу своей жизни. А поэты пишут стихи, а вообще странно, зачем в наш насквозь меркантильный век все еще пишутся стихи, как будто от них зависит будущее мира. А может, это действительно так...

Сегодня шестое июля, воскресенье. Вышел под вечер прогуляться на улицу, заглянул на стадион школьный, что по сосед-

ству с моим домом. Футбольное поле, покрытое зеленым ковром, словно зеленой попоной года Коня, который нынче по восточному календарю. А гарцуют на поле всадники кожаного мяча – городские юнцы, которым по душе носиться по малахитовому прямоугольнику с жадой пробить по воротам. Кстати, в Бразилии определились команды четвертьфинала, и земляки Пеле молятся за своих любимцев, которым предстоит сразиться с немцами – самой моторной командой в Европе, танком в мире футбола. И тень чемпионата мира незримо витает и над улан-удэнским стадиончиком, затерявшимся в просторах Евразии. И я присоединяюсь к немногочисленным болельщикам дворовых команд и слежу за игрой, вспоминая детство, когда я гонял вместе с пацанами до самозабвения мяч на пыльном городском пустыре...

Сегодня шестое июля, воскресенье. Пришла по мобильнику эсэмэска от МТС – персональное приглашение: «СЕГОДНЯ 06/07 ВЫ выбраны для участия и можете выиграть «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» и 500.000 р.!». Вот еще чего не хватало. А у меня в голове засела строчка из Хлебникова – о бактриане, сведущем в буддизме. Это, как ни странно, близко к истине. Ведь в сказаньях степных нередко воспеваются верблюды, нагруженные буддийскими фолиантами. Целые караваны везли их в подарок невесте героя. Вот какие были времена. Но все подвержено шуньяте, и смертные этого не замечают, и это благо для пребывающих в неведении. И мне в шелесте вечернем листьев все еще слышатся буддийские молитвы, отзвучавшие в день рождения Далай-ламы. Все-таки деревья больше буддисты, чем люди.

БУДДИЙСКАЯ ПРИТЧА НА ТАЕЖНЫЙ ЛАД

Посреди тайги – огромный лось,
он стоит, как будто в землю врос.

А на лосе – белый зайчик,
кругленький, как мячик.

А на зайньке – белочка,
хвост как кедровая веточка.

А на белочке – птичка,
сизая синичка,

клювиком небо клюет –
серебряный дождик идет,

дождик идет, травка растет,
солнце песенки поет.

СТРЕЛА МАРЫ

1

Человек, в теле которого застряла стрела Мары, властелина жизни и смерти, должен стараться извлечь ее, а не тратить время на размышления по поводу того, из какого материала она сделана и кем пущена. Так говорил Будда.

2

Мчится кабан озверелый по лесу –
впилося в могучее тело железо.
Острым клыком рассекая пространство,
хочет от смерти своей оторваться.
Но невозможно: стрела в его теле –
боль и страданье приносит, мученье.
Боги молчат и дрожит мирозданье,
запах сансары в дымящейся ране.

3

Человек рождается со стрелой Мары в сердце. Удел высоких –
освободиться от нее. Мириады поколений живут не подозревая,
что есть путь освобождения от страданий. Только буддам дано
извлечь стрелу Мары из своей плоти.

4

Миром правит стрела Мары. Марево Мары окутывает горизонты бытия. Вся тварь земная возносит гимны Маре. Лишь рожденному человеком предоставляется шанс встать на путь четы-

рех истин. Или это все-таки стезя избранных? Ведь сам Гаутама до двадцати девяти лет пребывал как бы в неведении, и стрела Мары приносила ему земные радости и соблазны. Но под деревом бодхи в миг просветления Гаутама освободился от чар Мары, чьи прекрасные чувственные дочери, кружившие вокруг отшельника в пленительном танце сладострастной любви, отступили, как отступает тьма на рассвете при лучах восходящего солнца.

5

Если бы радости жизни не омрачались горем и лишениями,
если бы человек жил долго, пока не устанет от жизни,
если бы сама сансара казалась нирваной,
разве пришел бы в этот мир Будда?

6

В свите Мары ты казалась
мне самой незаметной.
Пока плодов твоей весны
я не вкусил
и трепета вселенной я не вдохнул,
с твоим дыханьем слившись.

7

Ты приходишь ко мне, и цветок любви расцветает на стреле
Мары.

МАГЬЯМА

Нежная кукушка прилетела
из страны далекой Мон.
Персиковое дерево запело,
бирюзою светит небосклон.

Это из лирики VI Далай-ламы Цаньяна Джамцо, посвященной своей возлюбленной по имени Магьяма. Прошло с тех пор более 400 лет, но стихи оказались сильнее времени. В двухэтажном доме, где когда-то она жила со своими родителями и куда нередко приходил Цаньян Джамцо, теперь открыто кафе, которое привлекает портретом молодой красивой тибетки Магьямы.

Никому я тайны не открою.
Нежно милой светится лицо.
И любовь моя всегда со мною –
это я, Ригдзин Цаньян Джамцо.

Во время моего кратковременного пребывания в Тибете мне довелось заглянуть в это ставшее знаменитым кафе. Действительно, там негде было яблоку упасть, у входа толпилась очередь из молодых людей и иностранцев. Сюда людей тянет не только кухня, где можно попробовать момо – тибетские пельмени-буузы, которые, говорят, прекрасно умела готовить Магьяма, но и сама легенда о любви VI Далай-ламы, который ради любимой девушки отказался от обетов полного монашества.

В горах Тибета тает снег,
И оживает вновь легенда:

он бог живой, он человек,
пришедший в мир с душой поэта.

Резиденция VI Далай-ламы находилась в Потале. Она и теперь, вырастая из скальных пород, возвышается монументально над городом. В настоящее время здесь грандиозный музей, где в одной из многочисленных дворцовых комнат имеются покои Цаньян Джамцо. Каждый из посетителей может увидеть его бывший трон в виде широкого сиденья, здесь же хранятся ритуальные вещи под сенью милостивых и гневных божеств – хранителей тибетского буддизма.

Никому я не открою тайны.
Лики будд глядят сквозь времена.
Как уйти мне снова из Поталы
в час, когда восходит первая луна.

Со второго этажа кафе «Магьяма» открывается панорамный вид на улицу Бакхор – лхасский бродвей. Здесь самая оживленная часть города, где верующие совершают гороо вокруг главного храма Лхасы – Джокханг, твердя бесконечные молитвы, а многочисленные туристы и гости тибетской столицы бродят, глаза на местные достопримечательности и заглядывая в магазины и ларьки. Именно по этой улице, ведущей прямо к дому Магьямы, тянулись когда-то следы на снегу, выдавая любовные свидания буддийского иерарха – живого божества. Об этом и сам поэт признавался в своих стихах:

Я храню как тайну с милой встречи.
Никому открыться не могу.

Знают путь мой только зимний вечер
и следы на белом, на снегу.

На первом этаже я обратил внимание на небольшой стеллаж, уставленный книгами и тетрадями. Книги представляли издания сборника стихов самого Цаньяна Джамцо и произведений о нем, его жизни и творчестве. Тетради – их была целая стопка, на обложке знак ОМ – были заполнены стихами, написанными посетителями кафе, на тибетском, китайском и европейских языках. Несомненно, источником этих стихотворных пассажей являлась история любви Цаньяна Джамцо и Магьямы.

Он оставляет своды храма,
уходит в ночь от всех тайком.
Он первый в мире Далай-лама,
кто дружен с чарой и вином.

У меня тоже было искушение присесть где-нибудь в уголке на полчаса, осушить чашу тибетского вина из ячменя – чанга и оставить свои строки из цикла моих стихов о Цаньяне Джамцо в какой-либо из этих тетрадей, но, увы, времени у меня было в обрез. Меня ждали на улице мои соплеменники-коллеги по нашей экспедиции в Тибет и наш переводчик, терпением которых я явно злоупотреблял.

В горах Тибета тает снег.
И у монаха век короткий.
И вновь отчитывают четки
мгновений драгоценных бег.

Существует три версии относительно дальнейшей жизни Цаньяна Джамцо: 1. Его казнили в Пекине. 2. Он заболел в дороге и умер. 3. Он остался жив, но под другим именем.

Согласно последней версии, Цаньян Джамцо на склоне лет прославился как большой лама, ставший настоятелем монгольского монастыря в Алашани. Как-то на молебен пришла молодая девушка, похожая на Магьяму. Цаньян Джамцо спросил у нее, чья она дочь. В ответ, как гласит легенда, она спела песню, когда-то сочиненную им и которую любила петь ее мать.

У моей любимой в тихой песне
есть простые нежные слова.
Слух они ласкают, мое сердце,
и от них кружится голова.

В КОЛЕСЕ САНСАРЫ

I

Летит, как мяч,
планета,
по эллипсу во мгле,
закрученная мастерски
космическим Пеле.

Летит,
себя не зная,
летит который век.
С нее сосулькой свесившись
над бездной –
человек.

Он головой во мраке,
ногами на земле.
Он капелька Галактики,
набрякшая
во мне...

II

И я вращаюсь
мириады лет,
как белка,
в колесе сансары
сквозь мглу и свет.

И в каждой кальпе
моей слезы
по капле.

III

А в этот мир пришел я рано или поздно,
во сне его я вижу или нет?..
И где мой стих,
рожденный бронзой,
и бабочкой взлелеянный сонет?

У НИКИТСКИХ ВОРОТ

У Никитских ворот,
где, по преданию, венчались Пушкин и Натали,
есть ухоженный скверик со светящейся лужайкой.
На траве сочно зеленой
солнце рассыпало
пригоршни одуванчиков.

А кругом шумит, течет Арбат, и кинотеатр повторных фильмов, и Тимирязев, увенчанный воркующим голубем, на Тверском бульваре, и манекены, почти как живые, в витринах Садового кольца.

А лужайка – впрямь как кусочек рая Сукхавади.
Хочется пробежаться по ней босиком,
распевая песни Цаньян Джамцо, Далай-ламы VI.
Песни, приятные для слуха,
потому что они о любви.

Действительно, хочется на миг забыться
и не слышать,
как время, оседлавшее самых быстрых лошадей,
скачет и в тебе самом,
и цокот бытия
превращает будни
в цейтнот.

И каждый норовит
встать на стремяна
летающих над бездной мгновений,
не подозревая,
что под ним бренчат
кандалы
сансары.

А бабочка, присев на цветок,
складывает молитвенно
свои крылышки.
у Никитских ворот,
на лужайке,
похожей
на кусочек рая Сукхавади.

* * *

Я немножечко алеут,
потому что знаю,
что жизнь состоит всего лишь из трех минут:
одна – чтобы поспать,
другая – на еду промышлять,
а третья –
просто поразмышлять,
зачем ты на этом свете.

И почему-то
этой последней минуты
все не хватает людям,
прикованным к будням.

И потому-то
жизнь кажется короткой,
как хвост у верблюда.

Так говорят всевидящие алеуты,
потому что у тундры
тоже есть свои мудрые сутры.
И айсберги, как вечности субурганы,
хранят свои белые песни и тайны.

ЧИТАЯ БО ЦЗЮЙ-И

У поэтов страны Поднебесной
был обычай такой в старину.
Собирались в полночной беседке
созерцать до рассвета луну.

И беседа с гостем-монахом
размышляли в тиши о веках.
И тоску от изменчивой жизни
изливали в печальных стихах.

И сияла на все мирозданье
в небесах золотая луна.
И, плескаясь, ходила по кругу
неизбывная чаша вина.

* * *

Перечитываю записи мои –
отсвет канувшего в вечность года.
И в дыханье тающей строки
брезжит лик земли и небосвода.

Кто я – лишь пылинка во вселенной,
что однажды вверилась перу,
чтоб рождалась на сквозном ветру
сутра остановленных мгновений.

* * *

Шел я вчера вдоль знакомого дома,
что рядом со мной по соседству.
Мимо школьного прошел стадиона,
где дети гоняли с азартом футбол.
Чуть постоял, поглядел, как забивается гол.

Снова я поднял глаза и увидел окно.
То же, пустое.
Так и не сказали друг другу
то, что хотелось сказать.

Лишь помню печаль в ее светлых глазах.
Так и ушла,
и ни слова.

Помню некролог в газете –
с портретом ее, красивой,
похожей
на Мэрилин Монро.

И газета с ее некрологом –
как листик,
сорвавшийся с дерева –
канула в Лету.

Снова весна, и на улице май.
Листья бегут по тополиным веткам.
Школьный стадион опять наполняется
гулом подрастающего поколения.

Девушка с парнем целуются прямо
у самых ворот буддийского храма.

Над городом пролетел авиалайнер,
точно по расписанию.

Снова я поднял глаза и увидел окно.
То же, пустое.
Словно прищуренный глаз шуньяты.

* * *

Самая медленная в мире река –
река похоронной процессии.

Медь траурной музыки
снег окрашивает в печальный цвет.

Люди идут, погруженные
в размышленья о бренности жизни.

Одинокий воробышек,
словно в него воплотилась на миг
душа умершего
в поисках перерождения,
сидит, нахохлившись,
на верхушке замершего тополя.

Автомобили,
запрудившие улицу,
ждут, не решаясь обгонять
погребальное шествие.

По буддийским приметам
считается хорошим знаком,
если встретится
на пути
похоронная процессия.

ПРИТЧА О СНЕЖИНКЕ

Бегал за каждой снежинкой, парящей над предзимнею степью,
Белой-пребелой снежинкой – и с нею кружился, касаясь
созвездий.

Календари опадали, и таял снежок на ладони его, и он не
заметил,

Как однажды снежинки на висках его засеребрились.

Снова глядел он на небо, и снилось ему, что летит он над миром,
Словно снежинка, обретшая крылья из белых элегий.

И не заметил, как вечной снежинкой однажды растаял –
Искоркой белой растаял средь вечных созвездий.

* * *

Бывают светлые минуты,
когда в себе я замыкаюсь, как аскет.
И слышу я молчанье Будды
и вижу Свет.

И словно снится белый лотос,
и желтой тогой тишина
окутывает глобус,
пути и времена.

И нет страданий на планете,
и счастья тоже нет.
И самое печальное на свете,
что я поэт.

ЛОДКА СКОЛЬЗИТ ПО РЕКЕ

Лоно зеркальное вод отражает перистые облака.
Лотоса лепестки опадают, словно серебристые мгновенья.
Лодка скользит по воде, и струится, струится река.
Лодка скользит по воде, и оживают в тиши сновиденья.

Листья опавшие в дали уносит река.
Лодка скользит, проплывают месяцы, годы, века.
Лики богов меняют свои очертанья и тени.
Лодка скользит по воде, и тают вдали песнопенья.

Лоно зеркальное вод отражает перистые облака.
Лодка скользит, и обнимают поток берега.
Лишь сменяют друг друга гребцы в лодке скользящих мгновений.
Лишь неустанно струится река, и веков отражаются тени.

ВОСТОКОВЕДНОЕ

Мы не боги, не аскеты –
рикши мы, востоковеды.
Тащим груз тысячелетий –
древней мудрости наследье.

И с восторгом,
и со вздохом
занимаемся Востоком.

И в боренье
с суетой мгновений
обретаем путь к прозренью.

И нисходит Будда к нам.
Мангалам!

ПУТНИК

В какую даль ушел
мой караван?
Пустынны небеса и дол,
плывет туман.

И на лице земли
священные следы
травую заросли
в избытке немоты.

И путники с собой
мой унесли костер,
пылавший в час ночной
на фоне звезд и гор.

Дано горам молчать.
И стынет перевал.
Безмолвия печать.
Ушел мой караван.

Но звук родных имен
меня из мглы позвал.
И луч былых времен
в себе я отыскал.

И голос внутренний изрек:
«То – нить твоей тропы.
Сквозь Запад на Восток
направь свои стопы.

Не ты свой выбрал путь,
а путь избрал тебя.
И в этом тайны суть
и истина твоя».

На перевале – снег.
И осень – на земле.
И все короче век,
а ноша тяжелей.

12.11.1987

ТРОПА

Тропа тянется среди россыпи камней.

Услышал впереди голоса пилигримов. Они пели. Хангай – хозяин гор любит, когда люди поют. Значит, помыслы их чисты, сердца светлы.

Углубился в лес вслед за поющими голосами.

От ног тысяч паломников камни измельчали, обкатались, посветлели, приобрели желто-красный цвет.

Не к храмам ли Бодх-Гаи, где обрел просветление Гаутама, ведет тропа?

А может, к вершинам Утайшаня под сенью Манджушри – владыки мудрости и знания?

Или к святыням Тибета под сенью Авалокитешвары – бодхисаттвы вселенского милосердия и сострадания?

Не на этой ли тропе рождается третье око?

ПОЭМА О ГАУТАМЕ

I

Жил на свете мальчик Гаутама
на земле, где небо – бирюза.
И души не чаяла в нем мама,
и любил его отец раджа.

Не желал он имени и славы
и ценил друзей, улыбку, смех.
Обожал дворцовые забавы
и стрелял из лука лучше всех.

Так и рос он, чуточку изнежен,
в мире и согласии с собой.
Ясодхара – лучшая из женщин –
стала ему верною женой.

И, творя из вечных будней сказку,
райским уголком на фоне гор
возвышался град Капилавасту,
человеческий лаская взор.

Как павлина чудо-оперенье,
жизнь казалась празднично земной.
Каждое бегущее мгновенье
навевало негу и покой.

Но одно таилось предсказанье,
что седой брахман не зря изрек:
«На отцовском троне Гаутаме
не сидеть, когда придет тот срок.

Но зато – величья выше нету –
припадет весь мир к его стопам:
он – источник мудрости и света –
путь укажет странам и векам».

II

Так и жил бы Гаутама юный
во дворце, как в клетке золотой,
если б не открылся мир подлунный
для него обратной стороной.

В ранний час, когда щебечут птицы,
принц с возничим преданным вдвоем
в путь отправился на колеснице
посмотреть на город свой тайком.

Над землей уже царило солнце.
Пахло жженой глиной и травой.
У домов веселые торговцы
выставляли вещи пред толпой.

И увидел юный Гаутама
человека, страшного на вид:
был лицом одна сплошная рана,
гнойными коростами покрыт.

И возникший юноше ответил:
«Преходяще все. Вот он, больной,
а когда-то был красавец, светел
ликом, с нежной кожей золотой».

И увидел юный Гаутама
старика со сморщенным лицом:
что-то в нос себе бубнил упрямо,
долго шамкая беззубым ртом.

И возникший юноше ответил:
«Преходяще все. Вот он, старик,
а когда-то воин был, и ветер
разносил его победный клик».

И увидел юный Гаутама
траурно одетую толпу,
в путь она последний провожала
человека, спящего в гробу.

И возникший вновь сказал: «На свете
преходяще все. Вот он, мертвец,
был рожден, чтоб жить, но нет бессмертья.
У начала есть всегда конец».

И увидел юный Гаутама,
как едва лохмотьями прикрыт,
отрешенный от людского гама,
кто-то в позе лотоса сидит.

И возникший вновь изрек: «На свете
преходяще все. Вот он, аскет,
ищет жизни истину и смерти –
обрести в себе бессмертья свет».

III

И задумался о жизни Гаутама,
о живых и мертвых в круге бытия.
Как бездонная трепещущая тайна,
представало каждое мгновение дня.

От раздумий горестных все чаще
забывался он тяжелым долгим сном:
«Этот мир напоминает дом горящий,
в нем живущие не ведают о том.

И рождаться каждый раз в цепях страданий
человек по сути жизни обречен.
Круг сансары обнимает мирозданье.
Есть ли путь к спасенью? Где он, путь, и в чем?».

И однажды принц, призванием влекомый,
через волю преступил отца,
и ушел он из родительского дома –
навсегда ушел из царского дворца.

И бродил, как бедный странник, Гаутама
в поисках предназначенья своего.
Пыль со всех дорог и тропок Индостана
оседала на сандалии его.

Вел он долгие беседы с мудрецами –
знатоками книг, древней которых нет.
Были их слова, как звездное мерцанье,
исходил от них холодный вечный свет.

И в порыве гордом самоотрешенья,
чтоб в себе животный мир перебороть,
Гаутама, в роще манговой отшельник,
истязал упорно собственную плоть.

Утихали страсти, и росло смирение,
драгоценной каплей полнился сосуд.
Но молчало око внутреннего зренья,
и не все пути к спасению ведут.

И однажды под могучим древом бодхи,
он сидел, освобожденно и светло.
Просветленье, словно это возжелали боги,
на него волною светлой снизошло.

И прервал молчанье Гаутама: «В мире
много есть огня, но правит миром дым.
Благородных истин же – четыре,
и о них я возвещаю всем живым.

Первая из истин: жизнь – круговорот страданий,
изначально существующий закон.
А страдания проистекают из желаний –
вот вторая истина земных времен.

А желания ввергают нас в пучину
Неспокойного, как море, бытия.
Третья истина – в отказе от причины
и привязанностей человеческого «я».

А четвертая из истин – как просвет в тумане,
как ночная путеводная звезда.
Это – восьмеричный путь к нирване,
путь освобождения от пут земного зла».

IV

Так явился Будда в этом мире,
истинного света властелин,
повелитель поднебесной шири,
внутреннего знания господин.

Так явился Будда, это карма
воплощенной в сердце правоты.
Бог иллюзий и обмана – Мара
отступил за кромку темноты.

Будде – гуру в желтом одеянье
поклонились бхикшу до земли.
Все дороги в шумном Индостане
к тихой келье в роще манговой вели.

И пришло в движение колесо
светом осененного ученья.
И улыбкой Будды – знаком просветленья
озарилось истины лицо.

И бредущие по свету караваны
весть о слове Будды разнесли.
И на голос сутры о нирване
отзывались боги и цари.

Обнимала время и пространство
слава об ученье и его творце.
И о нем услышал град Капилавасту,
где раджа в чудесном жил дворце.

Говорят, раджа со всей семьей
поклонился Будде, и на склоне лет,
просветлев и сердцем, и душою,
принял сам монашеский обет.

Так обрел прибежище в Ученье
род и Гаутамы-мудреца.
А великой сутре Просветленья
вторят вслед земля и небеса.

БЛАГОУХАНИЕ САНДАЛА

Река истории поворачивает свое течение в ту или иную сторону, и ее волны нередко смывают старые берега.

Но река истории не может изменить истоки человека, которые – в его предках и их духовном мире.

Куда ведет тропа, заросшая травой забвения?

Где открывается дверь к самому себе?

Каждое мгновение может стать твоим поводырем, если внимательно прислушаться к нему.

Учитель появляется тогда, когда созревает ученик.

Бывает, что благоухание сандала передается обыкновенному дереву, – как сказал один степной мудрец.

ДУНЬХУАН**I**

Барханы
в песчаных красно-желтых одеяниях,
словно в ламских орхимжо,
бредут вокруг оазисных холмов
Дуньхуана.

II

Безмолвие земли и неба
ощутимей
на фоне пустыни.
Голос сансары
затихает во мне.

III

Медитирую
у ног гороподобного Будды
в полумраке гигантской пещеры.
Волны пространства и времени
смыкаются надо мной.

9.07.2004

СУТРА ЗОЛОТОГО БЛЕСКА

Говорят, от «Сутры золотого блеска»
на земную ширь пролился свет Учения.
И под пенье мантр рождались поколения,
успокаивались предков тени,
нисходило на кочевья просветленье,
лотос нес душе успокоенье.

Говорят, от «Сутры золотого блеска»
прибывает мудрость в мирозданье,
чаша полнится благодеяний,
оживает чувство состраданья
и от скверны очищаются желанья,
и прозревший приближается к нирване.

Говорят, от «Сутры золотого блеска»,
свет невидимый струится Будды,
освящая вечностью минуты.
Не прервется этот свет, покуда
есть на свете домик или юрта,
где хранится, как святыня, сутра –
«Сутра золотого блеска».

* * *

Свеча горела и погасла.
Но кто-то вновь свечу зажег.
Божественное масло,
буддийский огонек.

Свеча горит и не сгорает –
уже который век.
И потому не умирает
свечу зажегший человек.

* * *

К вечеру
ветер февральский крепчает.
Скрипят ставни.

Солнце садится в белесые тучи,
как будто заносит его
сугробами снега.

Ведром прогремев,
тетка уходит в стайку –
вечерняя дойка.

Дед чистит лампы,
чтобы на ночь заполнить
их маслом топленным.

Хрупкое пламя свечи
во тьме озаряет
бронзовый лик
гималайской богини.

ОМ МАНИ БАДМЭ ХУМ...

Каждый раз, когда я нахожусь у тети Аюши дома, беру в руки ее молитвенные четки, оставшиеся у нее от ее матери – моей бабушки Бадмы.

«Ом мани бадмэ хум» («О сокровище лотоса») – эту сокровенную формулу, обращенную к Будде, часто повторяла бабушка, чье имя Бадма (лотос) тоже звучало в этой молитве. Сколько раз произнесла она за свою жизнь эту мантру, не сосчитать, как не сосчитать песчинок на берегу Ганга, как не сосчитать лиственничных хвоинок, кружащихся в осеннем лесу при легких порывах северного ветра.

Я медленно перебираю сандаловые бусинки. Перебираю четки, хранящие тепло рук моей бабушки.

Ом мани бадмэ хум... Помню, как приезжал к бабушке в Нюрган, на летник в местности Барун Саган Бильчир, где растилались разноцветные луга по склонам окрестных гор, с которых, подпрыгивая на камнях, сбегала по пади малюсенькая речушка со странным названием Шушван. Коровы медленно, с величавой поступью, в лучах предзакатного солнца спускались к вечерней дойке. Смуглоликая красавица Ямбу Ошорова, считавшаяся передовой дояркой, сверкая белозубой улыбкой, звонким голосом окликала своих рогатых «подопечных». Я подходил к ее ограде, где она доила коров и хайнаков, тайно любуясь ее природной статью и сильной женственной фигурой, и говорил благопожелание, как учила меня бабушка: «Сүүтэй бологты!» («Да будет молоко!»).

Бродит в подойниках пар молока,
теплый такой, как дыханье доярки.

Беличьим хвостиком струйка дымка
робко мелькает над летником старым.

Где-то проклонет туман синева,
солнечный день предвещая в Нюргане.

Пламенем брызжут в печурке дрова.
Бабушки четки лежат на топчане.

С белым ведерком в озябших руках
кто-то заходит – чайком обогреться.

...Так вспоминается утро в горах,
раннее утро далекого детства.

Помню, как однажды ближе к полночи грянула сильная гроза. На улицу страшно было выглянуть, казалось, при каждом громе вот-вот обвалится небо и клыки ослепительных молний пронзят наш бревенчатый домик, в котором мы сидим втроем: бабушка, я и Надя, моя племянница, которая каждый раз при грохотании Хухэдэй Мэргэна прижималась к бабушке. Чтобы успокоить малышку, бабушка гладила ее левой рукой, а в правой держала четки, шепча беззвучно молитву. Печка яндан отдавала теплом, на полке горела лампада, пламя ее колебалось, отбрасывая зыбкую тень на потолок. Было такое ощущение, как будто природа возвращалась к своему первобытному состоянию, бездна со всех сторон окружала нас и напоминала о себе. А бабушка была спокойной, как Манзан Гурмэ – прародительница богов, и это ее спокойствие передавалось нам с Надей.

Ом мани бадмэ хум... Бабушка ушла из жизни в возрасте 79 лет. Это было в самом начале 1970-х. Я был тогда в Орлике и хо-

рошо помню, как она спокойно и тихо отошла в мир иной. Похоронили ее в солнечный зимний день. Все ее трое сыновей – дядя Лопсон, дядя Доржи и Соном, мой отец, бывшие фронтовики, участники боев под Сталинградом, Смоленском и Будапештом, и дочери – тетя Аюша, тетя Ханда, тетя Норжима – проводили свою мать в последний путь. Бабушка одна вырастила детей, оставшихся без отца – Гомбожаба Успажинова, которого в 1934 году по ложному доносу причислили к врагам народа и отправили в ссылку, откуда он не вернулся. Помню, как проходили поминки, по старинному обычаю, без спиртного, – на этом настоял старший в роду Дугаровых дядя Лопсон, хотя сам в жизни был большой поклонник Бахуса.

В старинных монгольских сутрах говорится, что существует несколько видов рождения: из материнского лона (эхын умай), из яйца (үндэгэн), из влажного тепла (шииг дулаан)... Лучшим перерождением считается возродиться в небесной стране Диваажин – из бутона цветка лотоса (бадма линхуа цэцэгын хүйснээс түрэх). Не знаю, где приобрела свое перерождение бабушка, на земле, в мире людей, или в иных светлых мирах.

Жизнь у бабушки была нелегкой и незаметной, такой же, как у многих бурятков, живших в суровых условиях горной страны Аха. Всю жизнь проработавшая дояркой, она получала унижительно крохотную пенсию – 12 рублей. Но она не имела привычки жаловаться, и жизнь ее протекала в согласии с обычаями предков и буддийскими понятиями о добре и милосердии. Бурятская женщина по имени Бадма – лотос.

Как человеку воздать матери за всю ее доброту, за то, что он из лона материнского рождается и становится тем, кто он есть. Это называется по-бурятски аша харюулха. Есть легенда о том, что сам Будда – бурхан багши – вставал рано, с восходом солнца, и со-

бирал росу с лепестков цветов и листьев трав в серебряную пиалу, чтобы напоить утренней росой – чистейшим напитком свою старую согбенную мать. Об этом рассказывал мне отец, слышавший в детстве устные рассказы из «Улигер-ун далай» («Моря сказаний»), бытовавшие среди окинских бурят. И еще говорят, что на земле не хватит росы, чтобы в полной мере воздать должное матери.

Ом мани бадмэ хум...

Бабушка происходила из хонгодорского рода саган. Он славился своими певцами, хурчинами и сказителями. Существует такая легенда. Однажды, это было очень давно, зашел хозяин песен (дуунай эжэн) в юрту, где жила семья из рода саган. Гости приняли, как полагается, по всем обычаям гостеприимства. Он, довольный радушием хозяев, поел, попил чаю. И, наконец, придя в хорошее настроение, запел от души, красиво и вдохновенно, как бы показывая, как надо петь и что такое песня. Как зачарованные слушали его жильцы. Не успели опомниться, как странный неведомый певец исчез. Но этот голос, эти звуки запали в душу каждого, и с тех пор в роду саган появились отменные певцы и музыканты.

Я не раз в студенческие годы заезжал к Дамшаевым – родственникам по бабушкиной линии, которые жили на своих родовых кочевьях в местности Монголжон, попеременно с представителями рода шоно, также с давних пор осевшими в этих местах и соседней Шарзе. Помню, как Сыбык Пурбуевич Патархеев, знаменитый табунщик, вынимал двухструнный домашний хур, чей корпус был обтянут кабарожьей кожей или сууха (бычьим мочевым пузырем). Раньше, говорят, волосную струну старались делать из хвоста быстрого коня, чтобы она лучше звучала. И проводил табунщик смычком по струне, и песня взмывала над степным простором Монголжона, вслед за жаворонком, в синеву бездонного горного неба.

Тихо перебираю четки, бусинку за бусинкой. Гляжу, как бьется пламя в печке. Тетя Аюша разливает горячий суп-лапшу в глубокие тарелки, вкусный запах наполняет комнату. Тетина дочь Дуся возвращается из школы, где она работает учительницей. Маленькие дети бегают босиком по дому. Жизнь продолжается.

Ом мани бадмэ хум...

Бабушка в жизни была немногословной. Во время семейных застолий она говорила свое неизменное благопожелание:

Хаарашагуй набатай,
Буурашагуй буянтай
һуужа байгты!

С чашей неиссякаемой,
С добродетелью нескончаемой
Живите на белом свете!

Бабушке

...Да, тебя я часто вспоминаю,
меж двумя мирами прохожу,
и ушедших лучше понимаю,
и сильней живыми дорожу.
Жизнь люблю. И если – радость, знаю –
это по завету твоему.
И добра по-твоему желаю
другу, краю, веку самому.

ПОД СЕНЬЮ
ВЕЧНОСТИ ЗЕЛЕННОЙ

ПРОСТОР ЛЕТАЩЕГО ОРЛА

Аха

Аха – как гордо и молитвенно емко звучит имя родной земли на языке моих предков.

Набираю полную грудь горного воздуха и выдыхаю – А-х-а-а, сливаясь вдохом и выдохом с тишиною неба и гор.

Не отсюда ли берет начало Эргунэ-кун – прародина моих далеких предков?

Как из материнского чрева,
из лона гор
протомонголы хлынули на простор
по зову неба.

Гудит в ограде столб телеграфный от мороза – словно гул вечности, нечаянно подслушанный, когда я прижался ухом к столбу.

Звезды Медведицы – прямо над хужирскими гольцами, повторяя очертания неведомых космических вершин.

Простор летящего орла
судьба мне в дар дала.

Орлик –
гор лик.

* * *

О Монголжон,
о чем, скажи, твой небосклон
с травой шепчется зеленой?
И что такое гул времен
в остывшем пламени племен,
хранящих тайну родословной?

Небесная чарует тишина.
И память здесь встает на стремяна
и окликает даль былых времен.
О Монголжон!..

Путь к Хухэю

Микрик ползет божьей коровкой по склонам Хухэя,
Микрик петляет по горным серпантинам,
Мимо редких селений, вдоль kloкочущих яростных рек,
Медленно взбирается на перевалы, где сквозь прилегшие там
облака
Медным бубном гладит солнце вершины нахмуренных гор.

Сколько раз я на крутых перевалах
Совершал возлияния духам Хухэя,
Солнце хватало на лету
Серебряные капли тарасуна, что, в синеве растворяясь,
Созвездьями проступали затем в ночных небесах.

Сопровождали меня на всем долгом пути
Синекрылые лиственницы –
Сестры мои по таежному высокогорью,
Кедры – братья мои, осеняющие скалы,
К небу мой взор обращали.
Сонмы небожителей – хранителей отчей вселенной
Сны навевали, в которых оживали
Сокровенные преданья,
Сотканые из опавшей листвы столетий –
Словно небо с землею беседовали неторопливо,
Словом освящая величавое молчание гор.

У подножья неба

Ваше высочество –
небо ночное,
свет одиночества
снова со мною.

Ваше сиятельство –
месяц небесный,
все обстоятельства
тайны чудесны.

В домик мой крошечный
входят под осень
шелест заоблачный
кедров и сосен.

Знак благоденствия –
тихая песня.
Аудиенция –
у поднебесья.

Дядя Доржи

I

А дядя Доржи не говорит, не слышит,
смеется беззвучно, и улыбается – от души.
И каждый день он мне что-нибудь пишет,
и так мы беседуем с дядей Доржи.

Дрова люблю поколоть – немножко размяться,
сходить за водой и книжку перед сном почитать,
на гору окрестную люблю подниматься
и сверху на Орлик глядеть: «Благодарь!».

Оттуда я вижу селенье в лучах заката,
серебряные поводья Аха-реки.
Волнистые, взлохмаченные, как сарлычата,
пасутся над каждой крышей дымки.

На горы гляжу на фоне небес бездонных,
на Орлик, окутанный в предвечернюю синеву.
И вижу мне до боли знакомый домик,
в котором у дяди Доржи живу.

II

Лет сорок назад. На Смоленщине это было.
Шел бой, ни шагу назад – а только вперед.

Гудела земля, и пуля пехоту косила,
глушил автоматную очередь дзот.

В скрещение огонь лобовой изрыгающих точек,
над полем, где рвался за снарядом снаряд,
с утра один держал высоту пулеметчик –
в солдатской пилотке скуластый бурят.

И рядом что-то вдруг полыхнуло, взрывная
волна ударила, горячим песком занесла –
и долго лежал солдат, в забытие пребывая,
пока санитарка не подобрала.

Смертельно контуженный, он все-таки выжил.
И снится война все реже в саянской тиши.
Но с той поры не говорит, не слышит
солдат Победы – пулеметчик Доржи.

III

Трещат в печи, обдавая теплом, поленья.
А в доме детишек полно – шумят, галдят.
А самых маленьких дядя берет на колени
и гладит рукой по головке внучат.

А в детстве мне верилось, что наступит минута
и голос однажды вернется к фронтовику.
Но годы текут, не происходит чуда,
и лишь седину прибавляет к виску.

И ветер нагорный золотые хвоинки кружит,
и светел будничный день, как чай с молоком.
И дядя Доржи не тужит – с авторучкой дружит
и очерки пишет о крае родном.

А жизнь – она наивысшая, от бога награда
тому, кто выжил, не дрогнув в кровавых боях.
И там, на войне, остался голос солдата
и бродит, как эхо, в смоленских лесах.

2011

* * *

В серебристом вечернем тумане,
вдалеке от огней и дорог,
мне назначил, я знаю, свиданье
неприметный таежный цветок.

И встаю я пред ним на колени,
чтобы запах услышать цветка.
С тишиною сливаясь оленьей,
слышу трепет в себе лепестка.

И уйду, чтоб опять возвратиться,
но теперь я не знаю когда.
Слишком время стремительно мчится,
слишком громко стучат поезда.

Но я знаю, что миг повторится,
и к тебе в предназначенный срок
кто-то снова придет поклониться,
неприметный таежный цветок.

* * *

Кто ты есть без синеющих далей
и аргалом пропахших долин?
Выше будь своих грез и печалей,
но не выше родимых вершин.

Как бы жизнь ни кружилась моя,
то паря, то к земле прижимаясь.
Все равно я к себе возвращаюсь,
на круги возвращаюсь своя.

И истоки земных песнопений
навевает небесный простор
в миг, когда преклоняю колени
перед ликом заснеженных гор.

* * *

Замирает земля Бурэнгола.
Ветви в небе как черные молнии.
Хвоя кружится тихо и долго –
словно выдох лесного безмолвия.

И хранят тишину вековую
эти горы, до боли мне близкие.
И в распадах, рождающих вьюгу,
спят сказанья мои богатырские.

Принимаю, как тайну, свой жребий
и пространство, чью вечность наследую.
С белым облаком, тающим в небе,
и с травинкой – землячкой беседую.

* * *

А где-то течет река
по имени предка Эрэна.
И в ней отражаются облака,
над ней проплывают века
и тают в пространстве вселенной.

А за вершинами хужирских гор
есть неизведанный простор.
И ведают о том лишь облака,
как широка земля Аха.

* * *

Век двадцатый, тяжела твоя рука,
как дожить порой с рассвета до рассвета.
Внук «врага народа», сын фронтовика –
есть такая боль и гордость у поэта.

Верю, что иные светят времена.
Грозных лихолетий миновала чаша.

Но в зловещей тишине издалека
мне мерцает волчьим глазом Букачача,
где ушел в небытие мой дед родной,
дед мой, правду говоривший без оглядки.

И я знаю, что мне тоже не дано
со своей играть судьбою в прятки.

Хужир

Хужир,
я твой – по имени Баир,
внук Гомбожаба, сын Сонома.
Потомок всадников степных,
кочевий гул в крови не стих,
и здесь воистину я дома.

Хужир,
чтоб обозреть родную ширь,
я поднимаюсь вновь по склону.
Родник струится с вышины,
и предков голоса слышны
под сенью вечности зеленой.

Хужир,
прозрачен утренний эфир,
как на ладони, вся долина.
Хан-уула и Тураг шулун,
небесный гром, таежный шум,
реки моей Аха стремнина.

Хужир,
хвоинка по ветру кружит,

и вся земля – напоминанье
о вечности и временах,
о небожителях и снах,
и чудной яви мирозданья.

Хужир,
в тебе вместился целый мир
легенд старинных и сказаний.
Вершины светлые мои,
здесь коновязь моей души
и тайна моего призванья.

Хан-уула

Вершиною благословенной,
округла и седа,
как образ мандалы вселенной,
в лазурь вознесена.

Чтоб не угасла предков вера,
не смолкла песнь добра,
нерукотворный меч Гэсэра
хранит в себе гора.

И блеск встает небесных молний.
И мириады дней
она вершиной безмолвной
царит в стране Хухэй.

Моя гора, моя планета
под куполом небес.
Благословенно, что на свете,
высокая, ты есть.

Я в этот мир, где белой сутрой
свет развеивает тьму,
пришел однажды сизым утром
по склону твоему.

И ты, сверкая ликом горным,
открылась, вся светла,
и позвала меня к просторам,
так властно позвала...

* * *

Летит с верховий горная река,
крутые омывая берега.
И волны по камням, как лани синих гор,
бегут вприпрыжку на простор,
им вслед взмывает брызг лазурных стая,
их легкий бег сопровождая.

Но прогремит в горах тяжелый гром.
Запляшут ливни, и река,
вспухая, мчится напролом,
валами раздвигая берега,
как будто сам владыка гор седых
свой грозный норов проявил
и стадо вепрей водяных
с небес воинственных спустил.

И мчат они, клыками пенистыми зло
распарывая тишину,
и валуны, очнувшись, тяжело
ползут по бешеному дну.
И эту мощь грохочущей воды,
ее неукротимо дикий пыл,
как откровенье грозной красоты,

я с малолетства полюбил.
И брызгам вод, что мчат ярься,
свое лицо я подставлял,
чтобы и мне передалась
крутая ярость этих вод и скал.
Я ощущал себя потоком сам,
готовым мчать, плотинам все наперекор,
чтобы напомнить городам
о первородстве гор.

Но дождь стихал. Прибрежные кусты
отряхивали водопад,
и вопри бешеной воды
угрюмо пятились назад.
И снова тек за мигом миг,
доверяясь будничной звезде,
и вновь вращался этот мир
в своей привычной суете.

Но никогда на дне моей души
гул горных рек не утихал,
и потому на суперэтажи
гляжу сквозь синеву небесных скал.
Не разделяет, шумный век,
твое всеилъе и напор
во мне живущий человек –
потомок небожителей и гор.

1987

Лиственница

Лиственница –
Лесов моих царица,
Люблю сидеть в тени твоей высокой кроны.

Расправив царственные ветви, как
Размашистые крылья,
Готова лиственница ввысь взмахнуть, под небо самое,
Гористые просторы осеняя.

Но остается лиственница
На земле, чтобы
Напоминать о том, что
Лишь Она –
Лик хвойной вечности собой
Олицетворяет.

О древо, связующее воедино в моей душе
Облака, проплывающие как сновидения,
Блики солнечных лучей на траве,
Брызги ливня, слетающего с небосклона,
Щебет утренних птиц и
Шелест вечерней травинки,
Синеву небес и
Сизый дымок аргала, струящегося сквозь века.

Да, это действительно так.
Даже, более того,
Нет надежней, чем лиственница, коновязи,
Небо связующей и землю.
Эпосом освящено
Эхо веков, покоящихся на ее ветвях.

Вот она снова, мне снится, расправляет свои хвойные крылья,
Воздух наполняется смехом тэнгриев-небожителей,
Вокруг дерева кружатся тысячелетья,
Возвращаются на землю
Полузабытые сказания и песни,
Потому что им не хватает дыхания живущих.

Снова во мне оживает
Слово, завещанное вечностью.

Девять краткостиий

* * *

Много ли надо для счастья?
Тихо на горы гляжу.
О, родина!

* * *

Иссиня-ясное небо,
иней на хвое опавшей
искрится на солнце.

* * *

Мышиные следы...
Словно рассыпались четок бусинки
по белому снегу.

* * *

Из тишины и света
сотканы мои беседы
с небом и землей.

* * *

На горной стезе,
у подножья вечности.
Что мне сказать о себе?

* * *

Пенье жаворонка в небе,
голос кукушки в лесах –
позывные моей души.

* * *

Нет прекраснее мгновенья,
когда я слышу сердцем бег оленя
в горах Хухэя.

* * *

Горностай оставил след
на таежном снегу.
Словно стих в одну строку.

* * *

Есть миг просветленья
и под сенью лиственниц
в круженье медленном хвоинок.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ОЛЬХОНУ

Ольхон, не здесь ли мать-природа изваяла

Ольхон,
не здесь ли мать-природа изваяла
песнь из воды, огня и камня в честь Байкала.

«Мы с Западных гор, – мне говорит старик. –
А навстречу восходу всегда кочевали».
Гул простора таит в себе материк,
и за каждой травинкой прячутся дали.

Для потомков монголов священнее нет
той земли, что встает из лона Байкала.
Родословной Ольхона – мириады лет,
здесь кочевий очаг и истоков начало.

Ольхон, откуда степь в твоём просторе

Ольхон, откуда степь в твоём просторе,
когда вокруг тебя синее море
и чайкой пенится небес кристалл.

И мнится: сквозь ковыльные фонтаны
бредут навьюченные бактрианы –
от южных дюн до верхоленских скал.

И каждый смертный верил, что Ольхон –
священный знак пространства и времен.

Как часто мы не ценим, что имеем

Как часто мы не ценим, что имеем.
Плеяды вновь
горят над Ижимеем.
И к небу тянется ночной простор,
и хочется в себя вселенную вдохнуть,
И молоком Манзан Гурмэ
в небесной тьме
струится Млечный путь –
от юго-запада на северо-восток,
как будто проступают в глуби мироздания
Байкала серебрящегося очертанья.

Ольхон,
который час,
столетие какое?
И всюду тайна звездного покоя.

У мыса Бурхан

Раньше мне всегда представлялось, что мыс Бурхан находится в труднодоступном безлюдном месте, и путь к нему мог открываться только для тех, кто хотел поклониться Байкалу, Земле и Небу и верил в магическую силу Шаманской скалы. Я видел неоднократно мыс Бурхан на цветных открытках, в альбомах и журналах, но наяву, воочию – ни разу. Теперь же, еще до конца не веря собственным глазам, стою в трех шагах от байкальской святыни и с затаенным удивлением воспринимаю мои грезы об Ольхоне за свершившуюся явь.

Радуга глаз, Шаманская скала возвышалась, как вставшая на дыбы огромная волна, окаменевшая в своем порыве к небу. Действительно, мириады столетий высекли из кристаллического известняка-мрамора величественный природный монумент, на котором свободно отпечатались причудливые узоры ярко-красного лишайника, словно языки пламени со времен первотворения.

На Байкале полный штиль. Волны ласково набегали на песчаную косу, золотистой подковой окаймляющую берег. По крутому склону берега, рискуя скатиться вниз, метров с семи-восьми, прямо в воду и торчащие из нее камни, стал пробираться напрямую до перешейка, ведущего к Шаманской скале.

Надо было просто спуститься по другому, более пологому месту. Это я понял поздно, когда поворачивать назад было уже невозможно из-за крутизны склона. Выбирая углубления на едва заметной тропинке, по которой следовали, по всей видимости, местные смельчаки, и ухватываясь для

подстраховки за торчащие ветки редких кустиков, все-таки благополучно добрался до Шаманской скалы.

Отверстие скалы зияло передо мной – вход в знаменитую пещеру. Над ней виднелись буддийские знаки вперемежку с «автографами» праздных туристов. Меня не тянуло заглянуть внутрь пещеры, лишенной прежней мистической силы. Но тайна, окутанная дымкой священного мифа, сохраняла для меня свое обаяние.

Обошел пещеру справа, долго смотрел, медитируя, на двуглавую вершину скалы с тыльной стороны. Идеальное место для созерцания. Присев на прибрежную каменную глыбу, предался размышлениям на вечные темы под всплеск набегающих на берег синих байкальских волн.

Веер

зыбкого будущего раскрывается передо мной.

Ветер

перелистывает книгу пути, дарованную мне судьбой.

Вепрем

проносится кальпа времен, замирая в байкальской волне.

Вечер

у мыса Бурхан, беседую с вечностью синей наедине.

На закате

Лишь коршуны
парят в кружении спокойном,
и чайки реют,
как обрывки белых парусов.
И не хватает
взмаха крыл орлиных над Ольхоном,
как не хватает нашим будням
неба и стихов.

Солнце медленно скатывается за прибрежные хребты. Синее зеркало Маломорья, отражая лучи закатного светила, как бы выстилается широкой бархатно-красной полосой, с множеством нежных цветовых переливов.

Словно ковровой дорожкой от подводного царства Лусан-хана к гористым берегам, как подножию вечернего неба, в глубине которого высятся ажурно-серебряные дворцы западных тэнгри-небожителей. В воображении оживает образ Алма Мэргэн – жены Гэсэра,

Славной дочери владыки водной стихии. Не она ли в эти волшебные мгновения, неподвластные будничным измерениям, спускается незримо в свои подводные чертоги, чтобы навестить своего старого отца – хозяина Байкала...

Вдоль берега Малого моря я иду

Вдоль берега Малого моря я иду от Шаманского камня,
сопровождаемый отраженными в лоне воды облаками.

Накатываясь друг на друга, волны бегут вслед за мною,
серебряными брызгами окропляя лиственниц нежную хвою.

На старой коряге, выброшенной когда-то на берег песчаный,
присел отдохнуть я, в гостях у Байкала путник неожиданный.

К воде наклонившись, черпаю хрустальную влагу ладонью,
лицо омываю и душу священной байкальской водою.

На мыс оглянувшись Бурхан, чувствую, как затихает время
во мне, в глубине меня самого эхо слышу первотворенья,

и рождается белая лебедь-богиня из пены байкальской,
и прошлое глядит сквозь меня, обернувшись былью-сказкой.

Хобой

Острова самая дальняя точка, где горная степь обрывается в Байкал, оставляя мыс Хобой – гигантский каменный клык, торчащий из водной бездны.

Остроконечный утес, к которому не решается близко подступить лиственничный бор, весь в золотящейся хвое.

Одинокая черная птица – ворон кружит над косогором. Как бы в противовес одинокая белая птица – чайка кружит над скалистым берегом.

Волны, как серебристо-рунные отары, катятся, подгоняемые ветром, на восточный берег Байкала.

Воздух наполняется дыханьем небожителей, и порывы ветра качают меня на вершине Хобоя, словно в танце круговом столетий.

Вопль застревает в груди в предчувствии песни заповедной, которая ищет тебя во вселенной и однажды с тобою сольется.

Кипит бездонный хаос
под скалой Хобой,
о камень бьется за волной волна.
И на вершине замираешь –
сам не свой,
и крылья обретает тишина.

Я видел, как из пенистых гребней волн

1

Я видел, как из пенистых гребней волн
рождались серебристые чайки
и вновь сливались воедино
с бегом свободной стихии.

Я видел, как из прибрежной лазури
лиственницы возникали
и снова превращались
в фонтаны брызг бьющихся о скалы волн.

Я видел, как из водной синевы
поднималось на цыпочках небо
и обнимало перистыми облаками
свое отражение в зеркале вод.

2

Небо светится из глубины Байкала,
а вода хрустальна и светла.
И везде душа моя покой искала,
только здесь на миг его нашла.

Что же все-таки не хватает человеку

Что же все-таки не хватает человеку
для полного счастья?

Почему золотое мгновение жизни
отдает неизменной печалью?

Отчего океан
притаился
в маленькой человеческой слезе?

Есть вечные вопросы

Есть вечные вопросы,
которые рождаются в каждом смертном.

Есть вечный ответ
в танце извечных стихий –
неба, воды и камня.

Есть красота молчания,
сотворенная самой вечностью.

И это все вместе называется Байкалом.

Из хвои опавшей

Из хвои опавшей
рождаются брызги чаек,
из осколков камня –
листья поэм.
И каждый раз во мне,
как лотос,
распускаются
синие
лепестки
Байкала.

ВЕЧЕРНИЙ МОТИВ

Один –
сам я себе господин.
Два –
в печку пора подкинуть дрова.
Три –
нежный огонь мой, гори, гори!
Четыре –
стало теплей и светлей в квартире.
Пять –
можно теперь помечтать.
Шесть –
кто подает мне небесную весть?
Семь –
кружится тихо Земли карусель.
Восемь –
это моя тридцать пятая осень.
Девять –
день уплывает, как белая лебедь.
Десять –
в небе восходит серебряный месяц.

1982

* * *

Реже, реже вспоминаю я о детстве.
Позабыл давно бы, если бы не сердце.

Сном далеким кажутся мне годы,
что прошли под сводами природы.

Хорошо, что я в степи когда-то
босиком бродил в лучах заката.

Не было детсада. Небеса и дали
по программе вольной душу воспитали.

И сама природа и была, наверно,
для меня учительницей первой.

* * *

Некогда рано вставал и бродил по траве босиком.
Нет, не вернутся назад безмятежные детские годы.
Небо напрасно меня тормозит солнечным нежным лучом,
Нежиться время прошло, донимают мирские заботы.

Может, махнуть мне куда-нибудь. Лучше бы на
Море, где волны бегут, расстилаясь безбрежным простором.
Музы не знак подают ли, когда пребывает в душе тишина:
Молча у моря присесть, вбирая в себя пенной вечности ропот.

* * *

Трава, сорняк с пахучим ароматом
на склоне, чуть расцвеченном закатом.

Как звать цветок – не вспомню я никак.
Трава. Пахучий аромат. Сорняк.

И он растет на вспаханной земле,
сон диких трав напоминая мне.

И я б хотел, чтоб в мире над асфальтом
взошел мой стих с таким же ароматом.

* * *

А стая турпанов над речкой кружится,
над берегом, над ивняком.
И кажется, каждой летящею птицей
очерчен степной окоем.

И тихо тропинка ведет за собою,
и хочется долго идти,
сливаясь с дрожащей от ветра листвою
и далью земного пути.

И нежность – откуда? – в душе наплывает
при виде озябшей травы,
что берег речной обнимает
и просит у хмурых небес синевы.

Дымится земля от дождя, и туманы
бредут, припадая к земле.
И долго кружатся над речкой турпаны,
чтоб светлую грустью остаться во мне.

* * *

Не верится, что были злыми
в ту пору детства комары.
Мне снится степь в кизячном дыме
и пионерские костры.

Промчались, как недели, годы.
Недели пролетели, как часы.
Миг наступил – глоток свободы
в краю предутренней росы.

Но нет чудес. И в самом деле,
кто мне минувшее вернет.
Как в детстве, тот же дождь идет,
и комары не подобрали.

ОВЕЧКА

Там, где машет речка
золотой уздечкой,
от дороги недалечко
домик есть, крылечко,
там хорошее местечко,
там стучит мое сердечко,
там теплом исходит печка,
дым свивается в колечко,
в доме вкусно пахнет гречкой,
а в траве бредет овечка,
ростом с человечка,
белая, как млечко,
ножка тонкая, как свечка.

В ХРЕБТАХ ХАМАР-ДАБАНА

I

Дыханье осени в хребтах Хамар-Дабана.
Незыблемое море хвойной тишины.
Под сизым пологом рассветного тумана
ложится инеем остывшим свет луны.

И желтизною цепкой схвачены осины,
и в пламени сухом плывут березняки,
как будто солнце ночевало средь долины,
в лесах оставив золотые островки.

Но, ошетинясь кедрачом, крутые склоны
хранят невозмутимо древний вечный цвет.
То цвет кедровой хвои – сумрачно зеленый,
и дремлют в иглах хвойных мириады лет.

В стволах могучих бродит сок первоначальный
земли, и пышной кроны вековой шатер,
воздвигнутый игрой природы величавой,
увенчивает вширь распахнутый простор.
И знает каждый сибиряк не понаслышке,
как человеческий притягивают взор
из хвойных недр выглядывающие шишки –
кедровый дар осенних прибайкальских гор.

II

То не гигантский дятел клювом неустанно
стучит в чашобе от зари и до зари,
а это в вековых хребтах Хамар-Дабана
орех кедровый собирают шишкар.

Тяжелый колот наподобие тарана
разлапистого кедра сотрясает ствол,
и пробегает дрожь по кроне первозданной,
соединяя дрожью небеса и дол.

И замирает на мгновенье все живое,
уходит соболь, прячась в дебри тишины,
и в ожиданье ночи под покровом хвои
в соседних падах стоя дремлют кабаны.

И сам медведь, к людскому непривычный шуму,
таясь, обходит человека стороной
и горько думает свою медвежью думу
о том, как слишком тесен стал простор лесной.

А колот ухает в кедровнике смолистом,
пока брусникою не истечет закат.
И шишки сыплются с небес с упругим свистом,
и сотрясает мир травы кедровый град.

III

Лишь только слухом чутким уловить возможно,
куда лесные шишки, падая, летят;

и, как зайчата, прячутся в траве таежной
и в зарослях бадана скрыться норовят.

И целый день, усталости не замечая,
обросший потною щетиной человек,
неутомимый сборщик чудо-урожая,
сгибает спину, чтоб поднять с земли орех.

И кажется, что отбивает он поклоны
(того не сознавая сам в горячке дня)
Земле – праматери своей вечнозеленой,
ее за щедрость мудрую благодаря.

И труд таежника мужским зовет недаром
лишь тот, кто пронесет на собственном горбу
гудящий колот и мешки с кедровым даром,
с трудом отыскивая в сумерках тропу.

И свет костра встает над темною поляной.
И чай, тайгой пропахший, освежает грудь.
И прикасается к хребтам Хамар-Дабана
заиндевелой звездной хвоей Млечный путь.

ФИЛОСОФИЯ ЦВЕТКА

У каждого растения своя философия.

Философия травы – быть зеленой, сливаться с себе подобными, оставаться незаметной.

Философия цветка – выделяться, быть ярким.

Вот, например, одуванчик – особа оригинальная. Он как крохотное солнышко на лужайке. Желтые лучики не умещаются в цветке и разбрызгивают себя на все стороны. И, не успев насладиться порывом цветенья, тут же превращаются в круглые пуховые седые шары. Словно из юности к старости – сразу.

На лужайке уже полно пуховых головок. И воздушные потоки уносят серебряные шары, и остаются тонкие сухие стебли. А другие цветы, не замечая драмы одуванчика, заполняют своей красотой лужайку.

Такова философия цветка – мимолетная улыбка природы.

* * *

Дыханье неба и луны –
легкий ветерок земли коснулся,
прошелестел, исчез.

Как будто выпорхнула птица
из женских рук,
а шелест крыльев
остался ветерком у губ.

Достаточно дыхания такого,
чтобы извлечь из флейты
пушисто нежный звук.

* * *

Зачем кошаре
арфа из сосулук?
Она свисает
с крыши до земли.
И конь шершавым боком
трется
о ледяные струны.

Весна. Капли
хрустальный каблучок.

ОСЕННЯЯ ОКТАВА

Гекзаметрами волн рокочат океаны.
Лепечет монорим родник среди камней.
Элегии любви и древности пеаны
в симфонии разлиты света и теней.
Брожу по солнечному краешку поляны.
Росой сверкая тает иней в тишине.

И пахнут синевою скошенные травы.
И вновь рождаются октавы из отавы.

ПРИТЧА О ЗАЙЦЕ

Написав что-нибудь стоящее, я иногда чувствую себя как заяц, которого возвеличила в его собственных глазах испуганная овца. Чтобы понять, о чем я говорю, приведу вкратце притчу-быль, которую слышал когда-то от забайкальских стариков.

Заяц, как они рассказывали, считал себя самым ничтожным существом на свете, поскольку всегда и всего боялся.

Куропатка ли сядет рядом в кустах, сразу дрожь пробегает по телу зайца. Оглянется – а это птица всего лишь безобидная, меньше его по телесам, да и не помышляющая никогда ничего против кого-нибудь, разве что червячками рада полакомиться.

Или лист прошуршит осенний, слетая с веток нагих березы, или лягушка хлюпнется в лужицу – все одно, испуг донимает, дрожь трясет тело, готовое опрометью помчаться и скрыться. А где – сам заяц не ведает, глаза-то у страха велики.

И решил заяц утопиться, чем все время жить и дрожать от страха, отчего и жизнь не в милость.

Прибежал к ручью, разлившемуся от ливня, настроился было и – слышит, что кто-то деру дает от него.

А это была овца, которая паслась в одиночку по бережку ручья. Испугалась она, увидев незнакомое существо с длинными ушами.

Обрадовался про себя зайнышка, оказывается, и от него бегут, значит, он не самое последнее существо на свете.

И оглядываясь горделиво по сторонам, постоял заяц минутую другую на короточках и приподнялся во весь свой рост, словно памятник собственному самонению.

СОН НА БАЙКАЛЕ

Я видел: в водах предвечернего Байкала
купалась долго стайка девушек нагих.
Но ни одна из них мой взор не привлекала,
не превратилась в лебедь ни одна из них.

И лишь над водной сине-голубой равниной
струилось облачко в небесной синеве,
как зыбкий образ нежной феи лебединой,
и тень его скользила рядом по траве.

ТАКУБОКУ

Вчера потянуло на Такубоку.
Увидел его на полке,
старого, 50-х годов, издания,
внутренний голос подсказал.
Словно встретился с близким человеком.

Есть такая поэзия –
как горсть горячего песка.

В каждой песчинке слышен прибой
неизбывной тоски океана,
стекающей
слезой
по лицу человека.

НАКАНУНЕ ЛЕДОСТАВА

Байкал еще не стал,
и чуть заметный легкий пар
над зеркалом воды клубился,
нет, точнее, вился,
как пушок на темени ребенка.

А лоно Баргузинского залива,
чуть застекленное ледком,
спокойно отражало, как зеркало,
светящуюся бирюзу
безоблачного неба.

Гольцы Хилман хушууна –
Святого носа
вершин серебряными плавниками
касались поднебесья,
и марево воды слегка парящей
приподнимало горы над ледовой гладью,
и чудился мираж
в канун заждавшегося ледостава.

Уже шуга примеривала панцирь
хрустального божественного льда.

И край залива весь бугрился от торосов,
прилегших
стадом заполярных медведей.

И правил всюду белый цвет –
от крыш в лебяжьих покрывалах
и до сугробов в заячьих тулупах
и пихт прибрежных в горностаевых мехах.

И заснеженный пляж
веленовой страницей расстился,
где тишина автограф свой незримый оставляла.
И пес, задрав у пня небрежно ногу,
расписывался желтой запятой.
И вороны,
слетаясь на пустынный берег,
брили по снегу караваном
таинственных черных многоточий,
предельно оттенявших белизну
январской мантии Байкала.

НОЧНЫЕ ТЕРЦЕТЫ

Который век созвездье Ориона
встает из черной глуби небосклона
над тишиной окрестных гор.

И в час, когда блеснут огни кошары,
в свой полушубок облачившись старый,
я ухожу опять в ночной дозор.

Вернувшись в город, средь житейских буден,
я знаю, просто времени не будет
тьму созерцать и свет ночных небес.

А здесь развернутые свитки ночи,
и звезды, словно россыпи отточий,
хранят незримой тайнописи текст.

Чтоб оправдать отсутствие бессмертья,
есть звездные иероглифы на свете
и обращенный к небу смертный лик.

Как будто ждали твоего прихода,
чтобы к земле приблизить книгу небосвода
и ею освятить твой краткий миг.

Где вечности таинственные барды?
С пространством слитно эхо Миларайбы,
и неба немота – в твоей судьбе.

И над тобой созвездье Ориона
сверкает в эту полночь благосклонно,
иль это только кажется тебе.

МОЖЕТ, ЭТО УЛЫБКА САНСАРЫ

1

Тысячи сабельных шрамов
в сердце ношу.

Тысячи стрел пронеслось
сквозь меня.

А я по-прежнему жив.

И бреду через века,
напевая песенку,
что мне навевает
весною – подснежник,
летом – дождик грибной,
осенью – клин журавлиный,
зимою – растаявший снег на ладони.

2

Странно,
что я еще не устал от жизни.
Хотя знаю давно –
здесь, на земле, я прохожий.

Мама в девяносто три года
песню поет о том,
что она загостилась
на этой планете.
И удивляется этому.

3

Отрешившись от буден,
полулежа,
как некий вельможа,
читаю дзэнские притчи.

А мама, худенькая, с сияющими глазами,
сгорбившаяся под бременем времени,
заглядывает ко мне в комнату,
как в детстве.
Словно время вспять потекло.

2015

* * *

КРОНОС –
неумолимый как будто –
замедлил бег времени.

КРОНОЙ
листвы золотистой сентябрь
осеняет мое одиночество.

ЧУТЬ
улыбнусь про себя,
отчего даже сам я не знаю.

ЧУДО ли
снова почувствовал жизни,
словно вчера я родился.

И ЗА МЕНЯ
ласточка в небе выводит крылом
приветственное хокку.

И ОСЕННИЙ ЛИСТОК,
прежде чем оторваться от ветки,
шелестит моей благодарной строкою.

КОЛИБРИ

Крылышками взмахивая,
зависает над цветком шмелевидный колибри,
острою шпагою клювика высасывая из чаши лепестков нектар.
Птичка-дюймовочка,
самая-самая крохотная в пернатом мире,
переливающаяся на солнце, как изумруд, и сияющая, как янтарь.

Насладившись поцелуями земли,
в небо взмывает малютка колибри
в молниеносном полете, прямо под самое солнце в зенит,
словно струна заповедная
просыпается в поднебесной лире,
и от трепета крылышек воздух вибрирует и синева звенит.

Чудо крылатое моих цветных сновидений,
о несравненный колибри,
храбро вступающий даже с соколом в поединок за небесный
простор,
ты еще раз доказываешь,
что дело не в масштабах и калибре,
а в природе твоей самозабвенной сути, вызывающей у меня
восторг.

Так почему не воспеть тебя,
мой маленький мечеклювый колибри,
мой изумрудный, рубиногорлый, топазовый, ракетохвостый
друг.

Сколько красок драгоценных
в твоём оперенье, словно в палитре
буйствующих красок Амазонии, чья красота окружает тебя
вокруг.

Ты мне снишься,
милый и храбрый несравненный колибри.
И я шлю тебе музыкальный привет из полынных степей:
это жаворонок – твой пернатый собрат
играет в небесах на лимбе*
и посвящает по просьбе моей свою утреннюю песнь тебе.

* Лимба – духовой музыкальный инструмент, род поперечной флейты у монгольских народов.

ДЯТЕЛ

Жаворонка песню
с детских лет понимаю.
Сколько раз запрокидывал голову,
чтобы услышать в небесах
трепещущее соло пташки,
от которой зарождались, наверное,
строчки первых поэм
в устах улигершинов.

Пенье кукушки всегда настраивает на лирический лад.
В предчувствии элегии,
не знаю отчего, в душе замирает,
и себе я кажусь вечным ребенком
и старцем одновременно.

Крик ворона дает понять,
что человеку не следует слишком забываться
в своей гордыне.
Вот такая она, непростая птица.
Оно и понятно,
почему ее недолюбливают.

А вот дятел – это особая статья.
Певчей птицей его никак не назовешь при всем желании.
Скорее всего, он труженик.
С утра и до вечера
долбит по дереву, то есть всегда за работой.
И это невольно вызывает уважение.

Дятел стучит что есть мочи,
дня не хватает ему и ночи.
А может, дятел
выстукивает небесные ямбы
впереमेжку с земными хорями –
как будто на пишущей машинке, давно из моды вышедшей,
целые поэмы он отбивает за день.
Действительно ни дня без строчки.

Дятел, дятел,
ты одно с утра заладил,
словно сам не свой,
в ствол стучаться головой.
Как же ты с ума не спятил,
дорогой.

А дятел – хоть бы что –
опять выстукивает ямбы,
словно шлет телеграммы в стихах,
адресованные господу богу.

Д	Д
я	ь
т	я
е	в
л	о
	л

с	
т	м
у	о
ч	л
и	ч
т	и
	т

Вот, кажется, дятел подустал маленько,
присел отдохнуть на сосновую ветку,
оглядывает сверху гуляющих в загородном лесу
с чувством некоторого превосходства,
как смотрят одержимые
на праздношатающихся.

Снова дятел выстукивает ямбы,
словно заклинание,
отчего
откликаются небеса
оглушительным громом,
осыпая землю
полными пригоршнями
поющих дождинок.

ОСЕННЯЯ ХВОЯ

ДВУСТИШИЯ

* * *

Мой малахай – вершины отчих гор,
а стремяна мои – земной простор.

* * *

В каждой снежинке, летящей с небес,
невыразимое таинство есть.

* * *

О Гэсэр-хан, куда, от пламени света,
твоя небесная устремлена стрела.

* * *

В моих далях кружит одиночества снег,
и печалью бывает согрет человек.

* * *

Мы не чувствуем сердца, пока не сожмет его боль.
Про любовь забываем, пока не уходит любовь.

* * *

Днепр полночный, и светится женщины лик над струящейся
бездной.
Дней быстротечных ладью как удержать мне в ладонях
мгновений.

* * *

Среда окружающая –
среда угрожающая.

* * *

Береговая осока –
в царстве природы тоже особа.

* * *

Поэт надежды подавал,
но слишком много поддавал.

* * *

Коль родился поэтом,
хвост держи пистолетом.

* * *

Стихи лишь знают, что поэтом избран он
по тайному голосованию времен.

* * *

Писать не может, если он поэт,
одной рукой – стихи, другой – доносы.

* * *

Неведение спасает, но – увы – не украшает нас,
когда не видит дальше носа собственного глаз.

* * *

Всадник – это и есть оседлавший себя
Во имя дороги.

ТРЕХСТИШИЯ

* * *

Утро сменяет вечер.
Утлый челн моего эго
Уносит волна сансары.

* * *

Где мое дерево бодхи?
Тальник на берегу Уды
или лиственница в горах Хухэя?

* * *

Тает в небе эскимо
убывающей зимней луны.
Катится полночный трамвай.

* * *

Ночь
в белой беретке луны.
Грусть на душе.

* * *

Дождь прошел.
Асфальт ночной лоснится,
словно кожа бегемота.

* * *

Мост через Уду –
словно черточка
между Улан и Удэ.

* * *

Тишина стояла в холле,
легкая,
как першинка в горле.

* * *

Беркут кружится над бездной.
Бег замирает мгновений и тает
Белой снежинкой на ладони твоей.

Три зеленых
Весной кругом трава зеленая.
Зимой лишь ель одна зеленая.
Со мной опять тоска зеленая.

Три трудных
Зиму подружить с летом,
кошму – с паркетом,
поэта – с поэтом.

Три приятных
Юрта с камином,
дева с жасмином,
водочка с тмином.

Три острых
Стрела летит – острая.
Боль сиротинки-верблюжонка – острая.
Взгляд уходящего из жизни – острый.

Три долгих
Дорога сквозь страданья – долгая.
Любви и тьмы сказанье – долгое.
Минута расставанья – долгая.

* * *

Я родился тысячелетним,
с саблей в руке,
с лотосом – в сердце.

* * *

«Заа* монгольское
разве не клятва», – говорил Чингисхан,
оседлав аргамака вселенной.

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

* * *

Под гром небес или в тиши
читай стихи, как заклинанье.
И отзовется глас души
ответным эхом в мирозданье.

* * *

Пегас летит под звон подков
сквозь зыбкий свет и тьму веков.
А поэтическое слово
и есть подковам всем подкова.

* * *

Что за песни? Их слышу впервые.
– Это раки поют на безрыбье.
Есть в молчании голос. Иначе
я бы тоже так спел бы – по-рачы.

* Заа – да, ладно, хорошо, итак (монг.)

* * *

Нет в жизни интереснее, чем жизнь сама, спектакля,
где в каждой мизансцене – драма бытия.
Я сам свою играю роль, но в такт ли
со временем, с самим собой. Да будет бог тому судья.

* * *

Не говорите,
что я спокоен.
Я просто тихий,
тихий воин.

* * *

Бурхан-Халдун не терпит суеты.
С веками трудно говорить на ты.
На западе дороги в Рим ведут,
а на востоке, здесь – к Бурхан-Халдун.

* * *

Лист вострепнется в тишине,
лишь стоит ветру дунуть.
С самим собой наедине
мне есть о чем подумать.

* * *

Родился я в день солнечный июня.
И пела мать мне песню колыбельную,
такую странную, такую нежную:
«Минии, минии, минии муунюня...».

* * *

Поэт живет, пока звучит его струна
и среди людей живой находит отклик.
Но тают времена и имена,
и тень зыбка от взмаха крыльев орлих.

* * *

Ван Гог, твое отрезанное ухо –
свидетельство безумья духа,
создавшего вселенную мазка
из солнца, моря и песка.

* * *

Мы наполним молчаньем часы.
Но расскажем друг другу едва ли
об Этьене де Ла Бозси,
о котором и прежде не знали.

* * *

Свет и мрак. Но все равно
свет сильнее мрака.
В этом правда Сирано
де Бержерака.

* * *

Мы уходим сквозь двадцатый век
к будущему на свиданье.
Оглянись в дороге, человек,
на себя и свет буддийских ланей.

Из «Кавьядарши»

Если слово – суть поэзии нетленной –
тьму времен не освещает, как звезда,
то пребудет каждый из миров вселенной
в путях тягостных невежества и зла.

* * *

Поэзия – есть чувство меры.
Все это от Гомера.
А остальное –
от перепоя.

* * *

Наука требует жертв,
поэзия – свободы выбора.
А душа оставаться вольна
по ту сторону яви и сна.

* * *

Опадают с древа жизни
ворохами листьев времена.
Но, как при феодализме,
светит в небе полная луна.

* * *

А может, пустыня –
барханов рабыня,
но госпожа
миража?

* * *

Живут – не коротают дни
мыслители, пророки.
Не оттого ль, что думают они
об истине и божестве.

* * *

В клубок веков вплеталась нить мгновений.
Курился дымом вечности аргал.
И мудрый старец в юрте постигал
духовным взором зыбкий смысл вселенной.

* * *

Ушедшие в небытие
не оживают ли в тот миг,
когда на просветление твое
ложится отблеск их.

* * *

Воистину, любая тварь
божественна и несравненна.
Изрекший: «Я природы царь» –
лишь самозванец во вселенной.

* * *

Грызть гранит науки –
это не от скуки.
Есть такая истина –
ориенталистика.

* * *

Путь лежит через тысячу истин.
Даль окутана светом и дымом.
Уезжаю на Запад туристом,
на Востоке бреду пилигримом.

* * *

Могучим пламенем объятый весь,
встает над горизонтом Очирвани.
От поступи его во мгле небес
гул грома отдается в мирозданье.

* * *

Поэт – от бога он или от жизни,
но не пророк – увы – в своей отчизне.
Но слышит неба глас в душе поэт –
власть предержавших тайный оппонент.

* * *

Добро должно быть с кулаками,
сказал один воинственный поэт.
Не потому ль земля дрожит под нами
и небо содрогается в ответ.

* * *

Моя ночь
и мои небеса
не умещаются
в двадцать четыре часа.

* * *

Почему он в ночные глядит небеса,
одиноким на этой планете прохожий,
словно ищет на Млечном пути адреса
своих прежних кочевий и вспомнить не может.

К Каллимаху

Александрийская библиотека, твои фолианты
Алчное время огнем пожирало, песком засыпало.
Если бы знал Каллимах, что из пышной листвы песнопений
Еле заметный листок, испещренный письмом, уцелеет.

К Пушкину

«Редет облаков летучая гряда...»
У каждого своя планида и звезда.
Из Александров всех твой образ сердцу близкий.
И слух ласкает мне твой стих александрийский.

* * *

Бог не каждому душу дарует.
И тоска – оглянешься – вокруг,
а поэзия все ж существует,
и она как спасательный круг.

Совет болтуну

Помолчи немножко,
чтоб пошли дела.
Чем ты не картошка,
что в ботву ушла.

Юбилейное

Кто на свете всех милее,
всех прекрасней и умнее?
Отвечаю не робея:
«Юбиляр на юбилее!».

* * *

Целый год мои финансы
для меня поют романсы.
Жизнь – она не сахар-махар,
жизнь – она не танцы-мансы.

Комплимент

Любуясь, милая, тобою,
сказали б в старину:
«Ты затмеваешь красотой
и солнце, и луну».

Из фольклора

Я пока ждала тебя, моя отрада,
съела втихомолку плитку шоколада.
Показался вечер мне немножко грустным,
ты – таким далеким, шоколад – невкусным.

День донора

В чьих-то жилах будет течь
кровь моя.
Капля первой группы
в море бытия.

* * *

Одиночества острою болью
нас с тобою дороги свели.
Незажившие раны любовью
мы на время прижгли.

* * *

Тихо тени сгущаются – возраста срок.
Но об этом не ведаешь ты.
И лицо твоё светится, как лепесток
предосенней земной красоты.

* * *

Плачет женщина не от несчастной любви –
от своей одинокости в мире.
И молчат на притихшей земле соловьи,
и поэт забывает о лире.

* * *

Земной кружится глобус.
Стихи – притихшая свирель.
Любви слышнее голос,
когда в душе – апрель.

* * *

Лунные и солнечные блики
осеняют мир и миражи.
И меня хранят в пути богини
четырёх сторон моей души.

* * *

Вновь Лебедь – птица Хун в небесном свете
кружит и машет белым мне крылом.
И мать глядит мне вслед из тьмы столетий
и путь мой окропляет молоком.

ПЯТИСТИШИЯ

* * *

С кем поделиться моей печалью?
Кажется, я заблудился в словах,
потому возвращаюсь к молчанию.
Тишину собираю в горах
моего одиночества.

* * *

Чаинки
оседают на дне пиалы.
Словно опавшие лепестки
неведомых мне
миров.

* * *

В небе серпик луны
острый,
как лезвие бритвы.
Бреется светом
сумрак ночной.

* * *

Тихий песчаный берег.
Вран одинокий
на одиноком древе.
Облак сребрится в небе,
как брада забытого Перуна.

* * *

Вспыхивает молния
на полночном фоне небосклона,
словно обнажается во тьме
огненный скелет
дракона.

* * *

Наш век танцует
безумный танец с саблями.
Он забывает, что под ним
сосуд хрустальный –
шар земной.

* * *

Я улыбался во сне
с неба летящим снежинкам.
Невесть откуда взявшаяся радость –
как будто благостная весть
мне одному предназначалась.

* * *

Есть прекрасный миг,
отдающий вечностью мгновения.
Это чтение старинных книг –
величаво медленное,
как верблюжья поступь, чтение.

* * *

Сквозь деревья в утреннем тумане
проступало синее сиянье,
словно небо опустилось
в чашу гор и скал.
Это есть его величество Байкал.

* * *

Мой век встает в пространстве
навстречу временам.
Мир и человек:
да будет счастье –
Мангалам!

* * *

Виадук стоит,
расставив
полусогнутые ноги,
словно каратист
в стойке киба-дачи.

* * *

От порыва ветра
ветка, вздрагивая,
описывает в воздухе дугу.
Словно чертит профиль
мне неведомой богини.

* * *

Мара –
царь земных желаний
сегодня ожил в облике моем.
И долго, с вождением, глядит
вслед длинноногой горожанке.

* * *

Что лучше прижать к груди?
Женщину?
Книгу или бутылку?
Каждый выбирает свое.
Поэт выбирает все.

* * *

Я знаю, что мир не убудет
и песня продлится моя,
пока меня женщина любит,
меня возвышает и губит
и вновь воскрешает меня...

* * *

Дуэт на извечную тему –
о горести
и свете бытия.
Пела скрипка о любви,
о печали – виолончель.

* * *

Мгновение за мгновением
мир погружается в Лету.
Лишь Слову дано улыбнуться векам.
Встречают поэта и провожают поэта
не по одежке, а по стихам.

* * *

Лунный свет и тоска
переполняют века.
Как словом себя превозмочь –
на помощь приходит к поэту
ночь, лунная ночь.

* * *

Черный ворон пролетел,
от размаха крыльев
вихрь снежинок закружился
между небом и землею.
Тишина первотворенья.

* * *

В луже, кипящей от дождя,
сошлись три начала вселенной –
небо, вода и земля.
Песнь моя –
из брызг бытия.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕСНИ БУРМОНА

Волосая струна	4
«Осененный божественным слогом...»	6
Возвращаюсь поздно	7
Селенгинская элегия	8
Хухэдэй Мэргэн	10
«Я согласен. В молчанье уйду...»	11
Тема тотема	12
«Поклонялись всадники быку...»	14
Воспоминание о Варне	15
Монолог бурмона	17
Шла дама по имени Клио	22
Чан-чунь	24
Конница Батыя	26
«Мои стихи опальные...»	27
Частушки о генсеках	28
«Эпоха продолжалась...»	29
«Снова несет меня...»	30
Дорожная Мойра	32
Станция Кипелово	33
«Белая лебедь – выдох земли первозданной...»	34
«Полночь. Светло. Полнолуние...»	35
Под рокот вселенной	37
«Окаменелые волны пространства...»	39
Истина кочевника	40
Песенка номада	41
«Закатилось дорожное лето...»	43
«Порог – граница дома называется...»	44
«По душе мне ехать...»	45
Гусиное озеро	46
Как рождаются стихи?	51
«И прежде чем вступить...»	52
«Не нам ли предки мудро завещали...»	53
Сказителям	54
Трон Аттилы	55
Кентавры в кафе	59
Кукунур	60
«Уют мне снится...»	61
«А в полночь – это я люблю...»	62
«Дар или по вечности тоска...»	63
«Анафоре...»	64

Дрофа.....	65
«Я проснулся от запаха трав и степи...»	66
«Монголия...»	68
«Хурэлбаатар не грозен с виду...»	69
Утро доброе, Улан-Батор	70
Кони на площади Чингисхана	71
Бурэнхан.....	72
Хубсугул.....	73
Алан-гуа	74
«Равнина плоская. Могучая жара...»	76
Из анкеты бурмона.....	77
«Есть, говорят, на этом белом свете...»	80
«Национальное начало...».....	81
Верхарн на верблюде.....	82
Девятистишие	83
У Трои	84
Эхо Эллады	85
Размышление на берегу Кыренки	87
Родине	93

ГОРОДСКИЕ МИРАЖИ

«Продолжается сага времен...»	96
Крылья	97
«Виадук в окне. Асфальт. Привычно...»	99
«И залюбовался я невольно...».....	100
«Снежинок ранних пачки...».....	101
«Вот и встретились три азиата...»	102
Архи	103
«Звенят на кухне шкалики...»	104
«Бывают в жизни узелки...»	105
Недругу	106
Эпиграмма	107
«Снова под утро приснился...»	108
Буузы	109
А все-таки скажи.....	110
«Торшер – и снопок света...»	112
«Со слезами на глазах...»	113
«Я чувствую, что мне дано...»	115
Беседа с луной	116
Рубайат	117
Шаман на пенсии.....	118
Год Змеи	120
Полночная встреча	122

«Нельзя, да просто невозможно...»	124
О верлибре	125
Импровизации на трамвайную тему	126
МАКАРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ	
Сон Тумэна	128
Зунтэгло	129
Застольное	130
Макаронический романс	131
О лени	133
Зимняя гипербола	135
Из записок медведя	136
Сиреневая сиренада	142
Монорим	143
Велосипеду	144
Гроза в воскресенье	145
«Я в полночь вышел на балкон...»	148
Песенка о городе У-У	149
«Я иду по щербатому льду...»	151
Жребий	152
Первая слезинка	153
У Чистопрудного бульвара	154
«Когда деревья без листьев...»	155
«Уж полночь близится...»	156
Петербургская фантазия	157
Череп сармата	159
Кажется, я устал от стихов	161
Стриж	164
Автограф на песке	165
ИЗ ПЕРЕДЕЛКИНСКОЙ ТЕТРАДИ	
На Киевском вокзале	166
Данте читаю	167
По коридору брожу	169
Тишина	171
Яблоко	172
Жара	173
Кукушка	174
«Тебя мир создал как поэму...»	175
Сэльби	176
«Под сенью утренних ветвей...»	177
Тет-а-тет	178
«Жизнь так похожа порой на вокзал...»	181
Ожидание	182
Муза в забегаловке	183
«Сентябрь. Сизый иней. Увядание...»	185

Библиотека	186
«Цейтнот, мой друг, цейтнот...»	188
«Ты лепечешь сплетни городские...»	189
Любовь и подснежник	190
Сюита инь-ян	195
«Снится мне цветущий куст...»	201
Танец осы на оконном стекле	202
«По будничной городской привычке...»	204
«Синие мои степи...»	206
«Я иду и щелкаю кедровые орешки...»	207
«А женщина воистину прекрасна...»	208
«Белая птица мелькнула в окне...»	209
Море сансары колышется, пенится	210
Тихая поэзия моя	212

МОЛЧАНИЕ БУДДЫ

ОМ!	216
«Восток загадочный и мудрый...»	217
Белая Тара	218
Автобус	219
Облако светящейся пыли	220
Свет полнолуния	221
«Бодхисаттвы...»	222
«Мне сон приснился...»	223
Легенда о кентавре	224
«Я был при освящении земли...»	225
«На Арбате живет Натали...»	226
«Под свет домашнего торшера...»	228
Притча о коровьем роге	229
Размышления на склоне Богдо-Улы	231
«Алтарь, домашняя библиотека...»	234
«Степь украшают каменные стелы...»	235
ИЗ МИЛАРАЙБЫ	236
«Я – Миларайба, славен в горном поднебесье...»	236
О Пяти счастьях	237
Песнь о коне йогачария	238
Песнь о разбитом котле	240
«Грохот грома, хоть и могуч на слух...»	241
«Творить добро! – когда я так подумал...»	242
«Когда достигаю степени Будды...»	243
Песнь, обращенная к девушкам-щеголихам	244
У подножья Мунку-Сардыка	245
Восточные импровизации	247
Дождь в ночном Кумбуме	249

Легенда о каратисте	259
«Я кинул в омут...»	261
«Лианами желаний...»	262
«Караван одинокий прошел по равнине...»	263
Шестое июля 2014 года	264
Буддийская притча на таежный лад	267
Стрела Мары.....	268
Магьяма	270
В колесе сансары.....	274
У Никитских ворот.....	276
«Я немножечко алеут...»	278
Читая Бо Цзюй-и.....	279
«Перечитываю записи мои...»	280
«Шел я вчера вдоль знакомого дома...».....	281
«Самая медленная в мире река...».....	283
Притча о снежинке	284
«Бывают светлые минуты...».....	285
Лодка скользит по реке	286
Востоковедное	287
Путник	288
Тропа	290
Поэма о Гаутаме.....	291
Благоухание сандала	298
Дуньхуан.....	299
Сутра золотого блеска	300
«Свеча горела и погасла...».....	301
«К вечеру...».....	302
Ом мани бадмэ хум.....	303

ПОД СЕНЬЮ ВЕЧНОСТИ ЗЕЛеной

ПРОСТОР ЛЕТАЩЕГО ОРЛА.....	310
Аха	310
«О Монголжон...»	311
Путь к Хухэю	312
У подножья неба	313
Дядя Доржи	314
«В серебристом вечернем тумане...».....	317
«Кто ты есть без синеющих далей...»	318
«Замирает земля Бурэнгола...»	319
«А где-то течет река...»	320
«Век двадцатый, тяжела твоя рука...».....	321
Хужир.....	322
Хан-уула	324

«Летит с верховий горная река...»	325
Лиственница	327
Девять краткостиший	329
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ОЛЬХОНУ	331
Ольхон, не здесь ли мать-природа изваяла	331
Ольхон, откуда степь в твоём просторе	332
Как часто мы не ценим, что имеем	333
У мыса Бурхан	334
На закате	336
Вдоль берега Малого моря я иду	337
Хобой	338
Я видел, как из пенистых гребней волн	339
Что же все-таки не хватает человеку	340
Есть вечные вопросы	341
Из хвои опавшей	342
Вечерний мотив	343
«Реже, реже вспоминаю я о детстве...»	344
«Некогда рано вставал и бродил по траве босиком...»	345
«Трава, сорняк с пахучим ароматом...»	346
«А стая турпанов над речкой кружится...»	347
«Не верится, что были злыми...»	348
Овечка	349
В хребтах Хамар-Дабана	350
Философия цветка	353
«Дыханье неба и луны...»	354
«Зачем кошаре...»	355
Осенняя октава	356
Притча о зайце	357
Сон на Байкале	358
Такубоку	359
Накануне ледостава	360
Ночные терцеты	362
Может, это улыбка сансары	364
«Кронос...»	366
Колибри	367
Дятел	369
ОСЕННЯЯ ХВОЯ	
Двустишия	374
Трехстишия	376
Четверостишия	379
Пятистишия	388

Дугаров Баир Сономович

САГА САНСАРЫ

Стихотворения

Художник-иллюстратор

А. С. Дугарова

Верстка

А.Жаркой «НоваПринт»

Корректора

С. Намсараева, Э. Сунграпова

Подписано в печать 4.12.2017. Формат 70х100/32. Печать офсетная.

Бумага офсетная.

Гарнитура PT Serif. Заказ № 1793, тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «НоваПринт», 670000, г. Улан-Удэ,

ул. Ранжурова, 1,

тел.: (3012) 212-220, 212-552.